

Максим Осипов

Люксембург

повесть

Не люблю похорон (кто ж их любит?), но — школьный товарищ зовет — надо идти. Мы привыкли к покойникам, особенно из начальства (хоть бы уже оно перемерло совсем!): нас, студентов мединститута, сгоняли в начале восьмидесятых изображать всенародную скорбь — то по Косыгину с Суловым, то по маршалу Гречко, — забыл хронологию и путаю чувачков. Но тогда это даже, по правде сказать, забавляло: прочие граждане в холод и зной машут флажками по сторонам Ленинского проспекта — Густав Гусак к нам прилетел, то-то счастье, — а мы — в Колонном зале Дома союзов постоим пятнадцать минут под Шопена или, не знаю, Чайковского, с постными лицами — и свободны, лишь бы не выкинуть какого-нибудь непотребства, не оскоромиться, не заржать. Покойники шли косяком, иногда по нескольку за семестр, так что завелся у нас обычай: по дороге в Колонный зал заворачивать то в шашлычку на Герцена возле консерватории (и сейчас люблю в ней бывать), то в стекляшку против Кремля (теперь там этот уродский памятник), то — не помню куда. На прощание с товарищем Пельше нашу компанию не допустили совсем: дали мы волю эмоциям, помянули как следует, — ничего, похоронили без нас. Впрочем, речь не о Пельше и не о глупой нашей советской юности с ее однообразными развлечениями, речь — о Саше Леванте, старом моем товарище. Знакомы мы с ним со школы, с двенадцати лет, его и моих, и хотя подолгу не видимся, меня он считает другом, иначе б на похороны Марии Ильиничны, своей матери, не позвал.

Смерть ее меня поразила лишь в том отношении, что я не знал, что она была до сих пор жива. Качество прожитой жизни измеряется в первую очередь тем, сколько людей явилось проститься с тобой (добровольно, начальство не в счет), но матери Саши исполнился, шутка ли, сто один год, в таком возрасте не бывает уже ни живых сослуживцев, ни старых подруг. А бывает вот так: морг городской больницы, траурный зал, священник что-то бубнит — не особенно разберешь — и мы с Сашей, со свечками. Саша время от времени крестится (новое в нем), я смотрю главным образом в пол, воск разминаю пальцами. К чему расписывать? — все бывали на подобных похоронах: старушка мертвая, цветочки мертвые, все мертвое. Священник — вдвое моложе нас, но тоже полуживой, — вдруг разразился речью минут на десять. Послушаешь, так Мария Ильинична умерла оттого, что мы с Сашей редко в церковь ходили. Кто б спорил, да только какой с меня спрос? — я некрещеный, неверующий, работаю всю свою жизнь психиатром

Об авторе | Максим Осипов — автор шести сборников прозы, лауреат нескольких литературных премий, его рассказы, повести, пьесы и очерки переведены на шестнадцать языков. С 2007 года — постоянный автор «Знамени». Сайт автора в интернете — maxim-osipov.ru.

в Кашенко, всякого повидал и в бессмертие души не верю. Саша шепнул: «Нерастроченный дидактический потенциал», — о попе. Ладно, проехали.

Потом мы ее загрузили в автобус, мужички помогли. — Не говорите нам «до свидания». — Тоже мне, ангелы смерти. Успокойтесь, знаю я ваш этикет. Вот чего я не знал, что покойница была выкрестом. Спросил Сашу. — Нет, говорит, мама русская, урожденная Котова. По первому мужу, Сашину биологическому отцу, — Гусева, и лишь по второму — Левант. Поди ж ты, я думал, что Саша наполовину еврей, очень уж Мария Ильинична была на еврейку похожа. Многие люди из культурного слоя приобретают семитскую внешность на старости лет, а Сашина мать со времен нашей юности была уже сильно немолодой. Взгляды у меня широкие, либеральные, но национальный вопрос я обойти стороной не могу. Так уж от детства пошло: когда будь ты хоть трижды гением, туда и сюда тебя не возьмут, когда в школьном журнале указывают национальность родителей и даже слово «еврей» вроде как неприличное, волей-неволей к подобным вещам пробуждается интерес.

Крематорий с его убогой роскошью описывать незачем — кто не видел, не потерял ничего: скоро по всей Москве наведут подобную красоту.

И вот мы мчимся в такси: избавились от покойницы и — быстрее, быстрее — на Пятницкую, в ресторан. Хочется себя ощутить живым — пить, есть, разговаривать, двигаться. Стараюсь скрыть свое оживление от Саши, но и он, по-моему, не собирается демонстративно скорбеть. Смотрю на него — Саша, что называется, в фокусе: хотя и полуседой, но красив. Я не мастер описывать внешности, цвета глаз не помню у собственных жен и детей, помню зато другое: Сашин почерк, к примеру, — писал он левой рукой (по тем временам — необычно, левшей заставляли правой писать), быстро-быстро, мелкими ровными буквами, почти что печатными, будто специально, чтоб было удобнее списывать, — он позволял. Пятерки по всем предметам — был бы он комсомольцем, получил бы медаль, способности к точным наукам — не гениальные, но очень и очень хорошие: надо идти на мехмат.

В школе нашей в те годы был развит своеобразный национальный спорт: сначала попробовать в МГУ или аналогичные учреждения вроде МИФИ или, не знаю, МФТИ — там экзамены раньше, в начале июля, а затем уж туда, где нашему брату не то чтобы рады, но, в общем, берут. «Вы, разумеется, не поступите, но кровь им попортить обязаны», — любил повторять учитель спецматематики, его посадили потом за антисоветскую агитацию, дали максимум — семь плюс пять. Идти в те места, где тебя не хотят (на мехмате валили с особой жестокостью), считалось нормальным, мало кто себе позволял быть гордым в семидесятые. И вот сидит мальчик, кудрявый, умненький, напротив антисемиты-экзаменаторы, подбрасывают задачки одну за другой, со всесоюзных, международных олимпиад, мальчик решает их (задач хоть и много, но они повторяются, у нас всю школу ими обклеивали по весне: дети, смотрите, что предлагалось в прошлом году на устных экзаменах в университет), снаружи — родители, учителя, помогают подать апелляцию, кто-то — я, например — просто так приходил поглазеть, за ребят поболеть.

Мне-то с моими данными путь в математику был заказан — не из-за пятого пункта в паспорте, не только из-за него. «Не позорь нацию», — никто мне так прямо не объявлял, но и без слов было ясно. Случались, однако, забавные происшествия: помню растерянного черноволосого паренька, старше нас с Сашей на класс, — он по третьему разу просматривал список зачисленных и не находил в нем себя. В глазах у него и в голосе были слезы: я не еврей! — Что ж, старичок, сочувствуем, внешность обманчива, лес рубят — щепки летят. — Пойду к Льву Семеновичу! — скулил он. — Лев Семенович различает евреев на нюх. —

Кто такой Лев Семенович? — о, академик, великий ученый — алгебраическая топология, вариационное исчисление, слышали? — с детства слепой, не потому ли столь развито обоняние? Выдающийся был человек во всех отношениях — зачислили паренька.

Нет, Саша в МГУ не пошел, и пытаться не стал. Будто бы документы подать не успел, паспорт посеял, но как-то нам слабо верилось. Теперь же, в свете того, что он рассказал про Марию Ильиничну, выходило, что и по крови он — помесь Гусева с Котовой. Кто б мог подумать: Александр Яковлевич Левант, записан евреем, а сам не еврей — другого такого, может быть, на всем свете нет! Похож на еврея, главное. Я прямо разволновался: отчего он раньше молчал? — тоже мог бы сходить к Льву Семеновичу. Понятно, не каждому по душе, когда его обнюхивает академик. Саша в итоге окончил какой-то невнятный вуз (одно в нем было хорошее — военная кафедра), выучил несколько языков: английский, немецкий, даже латынь, кажется. Зарабатывал переводами. При всем том двигал им не дух времени, а даже не могу сказать что. Не все замечали, но я замечал. Страсти было в нем маловато, наверное, но ни в ком из нас не было страсти, кроме упомянутого учителя математики. Опыт жизни в СССР затем лишь и нужен, чтоб жить в СССР: да, узнали много нелестного — о себе и о людях вообще, но к чему нам оно, это знание?

Вспомнил, как вытянулось лицо исторички нашей, идейной дуры, когда четырнадцатилетний Саша ей заявил, что в марксизме нету антропологии — мы даже не попытались узнать, что он имеет в виду, — в гробу мы видали марксизм, кто эту хрень принимает всерьез? И чтобы покончить с национальным вопросом: если еврей себя держит с достоинством, то обязательно с вызовом, это нам часто ставят в вину. Вот чего в моем друге не было — вызова. Ясно теперь почему.

Заказали еду, выпили — за светлую память Марии Ильиничны. Саша пьет мало — меньше, чем я, мата не любит — тоже немного мешает общению. Про выпивку мне еще в школьной характеристике написали: «Подвержен влиянию более сильных товарищей», — глупо звучит, кто не подвержен влиянию? На том языке, советском, это, однако, значило: курит и выпивает как минимум. Но в медицинский приняли, не обратили внимания. Говорю ему: ты, Саш, крещеный, я и не знал.

Выясняется: в школе, в самом конце, Саша крестился, никому из нас не сказал. Вопрос, конечно, бестактный, но — с какой радости? Начитался Булгакова, переслушал Ллойда Уэббера? (Все мы в девятом-десятом классах слушали и смотрели «Джизус Крайст суперстар» — с красивыми женщинами, гибкими быстрыми неграми, хипповатыми белыми — окно в несоветский, свободный мир.) Саша повел головой: не спрашивай. Про крещение свое рассказал матери. Та отозвалась неожиданным образом: «Вот и дурак». В раннем детстве, оказывается, Сашу дважды успели крестить — няньки, деревенские женщины, тайно, обе признались Марии Ильиничне. Трижды крещеный Левант — ошалеть.

Ели с большим аппетитом, не забывая, однако, зачем собрались. Саша кое-что рассказал мне о ней, дал посмотреть фотографии. Да, большой была красота женщина в молодые годы, лицо действительно русское, даже дворянское, я бы сказал. И биография героическая, особенно на первых порах.

Такой эпизод: ей тридцать лет, она улетает из Ленинграда в самый разгар блокады, ее раз за разом туда отправляют для подготовки эвакуации какого-нибудь завода или научного института. В самолете, военном, конечно, — только она и десяток мужчин. Бьют зенитки, самолет бросает из стороны в сторону, и у одного из военных нервы сдают: после благополучного приземления он бежит в панике — в немецкую сторону. Один из попутчиков Марии Ильиничны

вытаскивает пистолет и расстреливает паникера, а она — как ни в чем не бывало, готова к новым заданиям.

Всю войну, говорит Саша, мать курила махорку, перемешанную с гашишем, — чтобы работать круглые сутки, не расслабляться, не спать. — Странно, гашиш именно что расслабляет. — Так он запомнил. Целые дни Мария Ильинична проводит на железнодорожной станции под Свердловском, в одном кармане — незаряженный револьвер, в другом — разрешение снимать с проходящих составов любые стройматериалы. К такой-то дате силами эвакуированных надо построить завод — с нуля, и завод должен делать снаряды. Будут снаряды — будет орден Красного Знамени, не будет снарядов — не стоит и объяснять, что случится затем, — так функционировала экономика. Очевидно, завод построили — иначе и Саша бы не появился на свет.

А появился он следующим образом: в пятидесятых Мария Ильинична работала в Восточной Германии — отсюда хорошее знание немецкого языка и много старой тяжелой мебели у них дома, — и был у нее мимолетный, как она думала, роман с человеком по фамилии Гусев, он у нее в отделе служил. Гусев, однако, был увлечен всерьез — настолько, что сам на себя и свою возлюбленную накатал донос: так, мол, и так, внебрачная связь — неприемлемый для совслужащих вид отношений, тем более за границей. — Интересный способ сделать женщине предложение, я про такой не знал. Это бабы как раз обманутые любили писать в местком.

При всем том мать вспоминала те годы как лучшие. Жизнь в Восточной Германии была относительно благополучной — не то что в Западной. Были хорошие немцы, восточные, и они на какое-то время попали в руки плохих. Пришли русские и освободили их — вся история.

Между тем брак с подчиненным, беременность, а главное, скорый развод (для коммунистки — страшнее сожительства) положили конец служебному росту Марии Ильиничны. Какие-то министерства и комитеты, командировки — не дальше Прибалтики, и все закончилось персональной пенсией. К тому же в шестидесятых она стала Левант — какой уж тут рост? Да и с годами начала все больше себе позволять — размашистая была женщина: как-то раз, например, посреди спора с мужем (хотела ему доказать, что к евреям у нас относятся, как ко всем остальным) собственноручно зачеркнула у себя в паспорте «русская» и написала «еврейка» — на, полюбуйся, и ничего мне не будет, — несколько лет с таким паспортом и жила.

А вспомнить что-нибудь трогательное? — поминки ведь как-никак. Саша задумался. — Мама умела произвольно чихать. Перед тем как уйти из гостей, особенно не из самых приятных, объявляла во всеуслышание: «Пойду прочихаюсь», пряталась в дальнюю комнату и чихала, раз тридцать подряд. — М-да, немного же было в Марии Ильиничне трогательного.

Спросил, что он думает делать с прахом.

— В Люксембург отвезу.

Это я понимаю — размах! Оказалось, не понимаю: небольшой городок, на восток от Москвы, полтора или два часа электричкой, дальше автобусом. Назван, ясное дело, в честь пламенной революционерки Розалии Люксембург (кстати, польской еврейки). Не слышал про него, но мало ли. Саша сказал, что там хорошо — ему хорошо, и он подумывает туда перебраться. Ох, опасаясь я хождений в народ, еще и с такой фамилией, поаккуратнее там, но — желаю удачи, мы-то все больше поглядываем в противоположную сторону.

Стало быть, Люксембург. Она там хотела быть похороненной? — Нет, никаких пожеланий на этот счет мать не высказывала. Не говорила о смерти, не думала. И в загробную жизнь не то что не верила, а не особенно интересовалась ею.

Там, в Люксембурге, похоронен Яков Григорьевич, а больше в семье их никто и не умирал.

Мы опять выпили: за память Якова Григорьевича, отчима, симпатичного человека, совершенно, видимо, не похожего на Сашину мать, затем помянули умерших учителей, выпили и за школу в целом, за то, что она не пыталась стать нам семьей — такое бывает со специальными школами, и не только со школами.

Зачастую людьми на поминках овладевает веселость, ни с того ни с сего. Официантка (с изумительной попой, к слову сказать) отчетливо произнесла в телефон: «И что она в нем нашла? Ни спорта, ни тела, ни воспитания», и мы засмеялись, не слишком скрываясь. Она обратила на нас внимание:

— Как вам бефстроганов?

— Многовато соли, — ответил я ей, — а так ничего.

Пожала плечами:

— Я ела, мне норм. — Собрала пустые тарелки, ушла.

Мы опять засмеялись. Я помахал рукой, вернул ее, заказал коньяку.

Саше пришло сообщение, длинное, он углубился в него. Телефон лежал на столе, и я грешным делом прочел кусок фразы: «Только с уходом матери становишься поистине взрослым». Саше, кажется, не пять уже лет, чтоб хотеть поскорее стать взрослым. Такое, конечно, могла написать только женщина. С другой стороны, сочувствие, пускай нездоровое, много лучше, чем здоровое его отсутствие. Между прочим, у Саши жена была, где она? — он молчит, и я постеснялся спрашивать.

Вышел на улицу покурить, поглядел, во что превратили Пятницкую: бордюрики, плитка, здоровенные фонари — нездешняя красота, немосковская. Все равно я люблю Москву, у меня своего Люксембурга нет. Посмотрел сквозь стекло на Сашу: он отложил телефон и находился в задумчивости, естественной в такой день. Саша заметил меня, улыбнулся беспомощно. Я вернулся к нему.

— Помнишь, что такое «папирусный плод»? — спросил Саша вдруг.

Что-то из акушерства, забыл. Чего вы хотите от психиатра отечественного разлива? Я и экзамен по акушерству тетке родной сдавал.

— Папирусный, он же бумажный, пергаментный плод, встречается при однойцевых двойнях, — быстро, как на уроке, проговорил Саша. — То, что случилось со мной при рождении, точнее — с братом моим.

Иными словами, в утробе Марии Ильиничны находилась двойня, и Саша брата своего раздавил, расплющил по стенке. Пока Саша рос и вес набирал, брат его истощился, погиб, превратился в кусочек пергамента, в мумию. Обо всем этом он сообщил как бы наспех, чтобы отделаться поскорей. Не будь оба мы, особенно я, в подпитии, Саша не стал бы рассказывать. Я испугался: такие признания могут любую дружбу похоронить.

А откуда об этом известно? — Матери — от акушерок, естественно, нянькам — от матери, зачем-то она рассказала им, Саше — от нянек, от материнских приятельниц, сослуживиц, да ото всех вокруг. Подробностей он тогда, разумеется, знать не мог, никто вот так прямо ему ничего не рассказывал, но по намекам, многозначительным взглядам догадывался, что братоубийцы — не только Каин или там Святополк (добавлю: и равноапостольный князь Владимир — тот еще фрукт), но также и он, Сашенька. А когда уже мать начала говорить правду — лет десять назад, — ничего, кроме правды, только держись, тут-то Саша наслушался всякого, в том числе про папирусный плод.

Наверняка он себе много раз повторял, что вины его — злого умысла — в происшедшем нет, но никому, конечно же, не хотелось бы жить с подобным пятном в биографии, с родовым — буквально — проклятием. Ясно, зачем понадобилось крещение. Помогло? Был бы мой друг понаивнее, можно было бы налить

ему в уши какой-нибудь психологической лабуды в духе «ты сам себя должен простить», а так — что я скажу? Хреново, не повезло. Прямо греческая трагедия. Саша махнул рукой: чего уж там. А по поводу правды — знаю я этот тип старух: они, может быть, из ума и не выжили, нет, но по возрасту вполне бы могли, и перед ними открывается перспектива — врать что взбредет в голову, и никто слова не скажет им поперек.

Мы еще поболтали о разном, случайном, выпили, но вскоре обоим нам стало понятно, что сил продолжать нет. Пока Саша расплачивался, я попросил перелить коньяк из графина в бутылку — с собой унести, не пропадать же добру, — и официантка, поглядев на меня выразительно, это проделала.

Вышли наружу, и я не удержался, спросил:

— А что с... — и запнулся, идиотизм: забыл, как звали жену его — мы и виделись с нею мельком и всего только несколько раз. Оля? Юля? Помню, была она очень смешлива, и когда смеялась, рот прикрывала рукой. Еще у нее сильно покраснели щеки и лоб.

Саша ответил по-своему замечательно:

— Она развелась.

Надо думать, покойница допекла — я не стал выяснять подробностей, Саша и так рассказал мне больше, чем ему, вероятно, хотелось бы. На прощание обнял меня (между нами этого не водилось).

— Что ты, Саш, за такое не благодарят.

Он улыбнулся, пожал плечами:

— Почему, собственно?

И мы разъехались в разные стороны.

I

Вначале пропала роза. Вернее, вначале он ее посадил, а еще раньше похоронил мать, сдал квартиру в Москве, перебрался в этот несчастный Люксембург, заказал для матери памятник и тогда уже посадил розу.

План переезда сложился в те несколько дней, что предшествовали похоронам: прежде он не позволял себе думать, как будет «потом». Из книжки бесед на нравственные темы, которую ему пришлось однажды переводить, он узнал, что любить человека — то же, что сказать ему: ты никогда не умрешь, и запретил себе с той поры строить картину мира, где нет его матери. Люксембург же, точней — небольшой дом у края поселка (две комнаты, кухня, прихожая и захлапленная мансарда — чердак с окном) достался ему по наследству — от Якова Григорьевича Леванта, отца, отчима — Саша всякий раз путался, не знал, как его называть, и в итоге привык обходиться без указания родства. Мать звала его Яшкой, не уважала его («Яшка и дня не работал»), но Сашу не ревновала, не мешала их близости.

Вот для того, чтоб любить Якова Григорьевича, книжек читать не пришлось: он был человеком веселым, считал, что веселость — в некотором роде обязанность, просто не у всех получается. Яков Григорьевич повстречался с матерью, кажется, на концерте, а может быть, просто в трамвае или на улице, влюбился в нее и увел у Гусева — это было нетрудно, тот уже сильно остыл, — а почему согласилась она, непонятно, — Яков Григорьевич утверждал, что дело в фамилии: разве есть фамилия красивей, чем Левант? Прожили вместе несколько лет, в частых ссорах, а потом развелись, так же просто, как и сошлись, и Яков Григорьевич возвратился к себе в коммуналку. С пасынком виделся по воскресеньям, в кафе-мороженом «Космос» в начале улицы Горького. Яков Григорьевич любил музыку, особенно фортепианную, — не только, как все в его поколении, Шопена,

но также Скрябина, Метнера, — любил и оперу, даже джаз, трубку курил, фотографировал, рисовал. К еврейству своему относился с иронией, как к забавному недостатку, который, однако, освобождает от ряда забот, в частности от карабканья по социальной лестнице. Он и к антисемитам относился с иронией: «Две вещи не перестают меня удивлять...» — так он начал однажды, но Саша читал и про звездное небо, и про закон внутри нас, и поторопился закончить цитату. Яков Григорьевич рассмеялся: «Меня удивляют другие две вещи — почему они так любят водку и так не любят нас». (Сам он пил водку лишь изредка, чаще ром.) В графе «профессия» Яков Григорьевич указывал «изобретатель», но работа не слишком занимала его. Во время войны он все-таки что-то важное изобрел — настолько, что получил бронь, не попал на фронт, но главнейшее изобретение его как раз находилось тут, в Люксембурге, неподалеку.

В начале семидесятых Яков Григорьевич выхлопотал себе место на старом кладбище, уже тогда в Люксембурге их было два, и стал наезжать сюда — много чаще, чем можно было бы ждать от легкого, веселого человека, нестарого. Установил плиту из белого камня, местного известняка, нанес надпись — имя, фамилию, год своего рождения и легкомысленную эпитафию: «Все хорошо, что хорошо кончается». Изобретение же состояло в следующем: внизу, у фундамента, была спрятана кнопка — нажмешь на нее, и можно отодвинуть плиту, забраться в тайник. Защищенный от влаги и даже от сильного холода, тайник позволял хранить целую библиотеку: от произведений, которые по официальной классификации назывались ущербными (стихи Гумилева, «Прогулки с Пушкиным», кустарные переводы Орвелла), до настоящей антисоветчины («Архипелаг», «Хроники») — с седьмого класса кафе-мороженое уступило место поездкам на кладбище в Люксембург, ничего счастливее тех поездок в Сашиной юности не было.

Он сидит за столом, читает «Окаянные дни» Бунина, на столе — чай, ром, остатки еды — то небольшое, что они могли приготовить, Яков Григорьевич (отец, конечно отец!) следит за меняющимися выражениями лица мальчика, или читает что-то свое — как уж он пополняет библиотеку, не надо спрашивать, или слушает «Голос Америки», затем они уже в темноте снова идут на кладбище, возвращают книги на место, затем автобусом, электричкой едут в Москву. В электричке Яков Григорьевич громко поет, привлекая внимание публики, Саше делается неловко, хочется отойти, пересесть. «*В краю святом, в далеком горнем царстве...* Граждане пассажиры, — объявляет Яков Григорьевич нараспев, — это мой сын. Сынок, ты куда? Садись». Полупустая подмосковная электричка, воскресный вечер, подвыпивший пожилой еврей — у попутчиков его поведение не вызывает протеста, такие уж им в тот вечер попутчики подобрались. Больше того, один из них садится напротив и произносит несколько слов — смесь русского с идиш: *азелхер йингеле* — какой мальчик, благословение Божие! — Якова Григорьевича это очень, кажется, тронуло. «Евреи ужасны, — сказал он, — хуже только все остальные». Поездок было не так уж много, но Саша всегда будет помнить их.

Умер Яков Григорьевич быстро, то ли от рака желудка, то ли просто от язвы, что было, по словам матери, неудивительно при образе жизни, который он вел (неправильное питание, ром): неуместное замечание, да и с точки зрения науки, как выяснилось, сомнительное. Комната его отошла государству, Люксембург — к нему, к Саше, туда и были свезены вещи умершего, сложены на чердак. Сам же Яков Григорьевич теперь покоился рядом с любимыми им запрещенными книгами, но хулиганская эпитафия выглядела ужасно — оставалось надеяться, что со временем она полиняет, сотрется, сойдет на нет. Саша подумал немножко, почитал Библию и крестился — месяца не прошло. Когда он расскажет Эле, жене, она его спросит: «Надеялся обрести другого отца, небесного?» — он

поморщится (зачем так торжественно?), но кивнет. Получилось ли, лучше не спрашивать.

Позже стала известна история: однажды Яков Григорьевич принес соседке — одинокой женщине с плоским лицом, не имеющим как бы черт, коробки, тяжелые, сказал — собирается делать ремонт, просит их поддержать у себя, чтоб не украли рабочие. Ремонта он так и не начал, зато в скором времени у него прошел обыск — перевернули весь дом, а соседку, ту самую, пригласили быть понятой. Ничего запрещенного не обнаружили, и вскоре он снова зашел — за коробками. «Можете на меня полагаться, когда опять соберетесь делать ремонт, Яков Григорьевич», — сказала соседка. Правдива ли эта история, не узнать. Как и ее продолжение: он ей хотел подарить конфет с коньяком и что-то практическое собственного изобретения, а она не взяла. «Думаете, у вас душа, а у меня балалайка?» — спросила соседка, опять же со слов Якова Григорьевича, а он мог и придумать историю целиком, и объединить нескольких персонажей в один (мать злилась: «Яшка все врет»). Апокриф, предание, но что-то произошло, что заставило его оборудовать могилу свою тайничком, это было не просто чудачеством, в отличие от эпитафии. Которая ко всему оказалась и неверна: ничего не закончилось, отношения с родителями не прекращаются с их физической смертью. Последнее, что сказал ему Яков Григорьевич: «Саша, я бы хотел, чтобы, вспоминая меня, ты каждый раз улыбался. Будет трудно сначала, но станет привычкой», — так и произошло.

Какой все же точный выбор, думает он теперь, сделал Яков Григорьевич: кладбища были самым свободным общественным местом в советские времена, пространством для творчества — ставь звезды, кресты, сооружай памятники, все что угодно пиши на них, сколько хочешь их посещай. В больших городах, правда, кладбища закрывают по вечерам, но тут, в Люксембурге, все нараспашку — ночью и днем.

А соседка — кстати, преподаватель музыки в местной школе — долго еще продолжала поддерживать дом, даже сад — бескорыстно, что-то серьезное привязывало ее к Якову Григорьевичу: возможно, и ей он давал читать книжки, вряд ли там было что-нибудь большее, чем общая их любовь к Метнеру и нелюбовь к Софье Власьевне, но и соседка, конечно, давно уже умерла.

Итак, Люксембург достался ему от отца, квартира в Москве — от матери. Большая квартира, с огромным количеством старой, «трофейной», немецкой мебели: спальня в бирюзовых тонах с золотом, секретер со множеством потайных ящичков, красного дерева письменный стол и поменьше — журнальный, отделанный мрамором, старинное зеркало и так далее. Но Саша Москву разлюбил и мог даже точно сказать, когда.

Солнечным утром, посреди майских праздников, ему предстояло забрать из аэропорта жену. Он быстро доехал до «Юго-Западной», остановился у поворота на Ленинский. Все радовало, он отметил у себя эту радость: спокойствие города, спокойствие внутри, возвращение Эли, да и мать еще не успела сегодня ничем огорчить. Стоял около светофора, ждал, пока переключат свет, улыбался, представляя себе, что сразу они с Элей домой не поедут — он уговорит ее прокатиться куда-нибудь за город, куда ей захочется. (К Люксембургу она относилась вполне равнодушно: какой там потерянный рай? — обычный поселок с обычной серенькой жизнью — ни кино, ни театра, ни выставок. А река, поле, лес — да, красиво, наверное.) Пока горел красный, между машин стал протискиваться мотоциклист, остановился чуть впереди. Куртка, шлем, сапоги — ничего необычного, и лицо, как у мусульманок, прикрыто черным платком, мотоциклисты нередко повязывают такие платки. Их взгляды на долю секунды встретились. Однажды в парижском метро Саша долго стоял прижатым вплотную к женщи-

не, закупоренной почти наглухо — только сияющие глаза, их взгляд трудно вынести. Тронулись с места и повернули направо, на Ленинский. И тут мотоциклист подъехал к автомобилю, стоявшему у обочины, — Саша видел его боковым зрением, но довольно отчетливо, — достал сверкающий пистолет (было яркое солнце), большой, не игрушечный, направил его на водителя. Автомобиль, дорогой, черный, — то, что можно вспомнить о нем, — проехал несколько метров вперед, ударился о заграждение, встал. Выстрела он не услышал. Что это было — убийство? угроза убить? — рассматривать сцену в подробностях времени не было — поток машин увлек его далеко вперед. Он встретил Элю, рассказывать ничего ей не стал. За город они в тот день не поехали.

Эля (полное имя — Эльвира, красиво: Эльвира Левант) немножко писала рецензии про кино, немножко переводила с французского — он правил ее переводы, хоть и не знал языка, старался внести в них смысл, которого в оригинале, возможно, и не было. «Туман, и кто-то любит Брамса», что-то психологическое, патологическое — не слишком удачно французские тексты ложились на русский язык. «Через много лет эта девушка стала моей свекровью, — Поправь, Элечка, свекровь зловеще звучит». — «Но тут ведь *belle-mère!*» — «Напиши: *Через много лет я вышла замуж за ее сына*, так спокойнее, дело тебе говорю». *À propos*: мать ненавидела Элю так, что в последние свои месяцы, совершенно лишившись разума, одну лишь ее и помнила, и узнавала — на фотографиях, — к тому времени они с Элей уже разошлись. Может быть, пистолет был все же игрушечным? — весь вечер тогда и на следующий день он просматривал криминальные хроники, и ничего про убийство на Юго-Западе не нашел. Так уж вышло, однако, что происшествие это, постороннее для него, чуждое, положило начало череде неприятностей, совершенно своих.

Началось с нежелания водить машину и вытекающих бытовых неудобств, а продолжилось тем, что Эля записалась на курсы вождения и познакомилась с неким Олегом по фамилии Звездарёв — долговязым блондином-инструктором младше нее на двенадцать лет (с Сашей у Эли похожая разница в возрасте, только в обратную сторону), увлеклась: простой человек, но как же он, Сашенька, ненавидит власть! Любитель авторской песни («Не будь, пожалуйста, снобом, зачем ты морщишься?»), Олег к тому же и книжки любит читать. — Отчего тогда он употребляет слова «кушает» и «супруга»? — Саше пришлось говорить с ним по телефону. А что касается неприязни Олега к большому начальству, инструкторы произносят то, что хочет услышать клиент: как официанты, как парикмахеры. — Саша, что же, ревнует? — Оказалось — небеспричинно: Эля в какой-то момент перестала говорить об инструкторе, но затем, когда все вроде бы улеглось и она получила права, то обнаружила, что беременна. От Олега. Как так? Она же не собиралась рожать детей. Верней, говорила: «потом», и было понятно, когда оно будет, «потом», — когда наконец не станет *belle-mère*. Саша помог ей погрузиться в машину, с вещами, и она отбыла.

Беременность ее не была запланированной, но неверность — была. Как выяснилось, Эля тратила то небольшое, что сама зарабатывала, на психолога, и психолог установил, что душевный ее дискомфорт возник оттого, что Саша много сильнее ее умом-разумом, что она, Эля, должна жить как ей хочется, по своей воле, для начала — обзавестись любовником, — так она, во всяком случае, психолога поняла.

Наступили плохие дни: мать почти перестала двигаться, и сиделки ей требовались круглосуточно, разнообразные мерзости происходили в политике, не только отечественной — мировой, он не очень следил за политикой, но — бесполезно нос затыкать — мерзость уже разлилась в воздухе. Попутно пришлось уйти из издательства, в котором он прослужил чуть ли не двадцать лет: к руко-

водству в нем пробрались, в духе времени, люди «с альтернативными представлениями о порядочности», как выразилась одна из бывших коллег, — это уже показалось мелким звеном в цепи неприятностей. Надо, однако, признать, расставаться с издательством тоже было ему тяжело: кажется, что переводом научной литературы (книги по философии, социологии, даже психиатрии) увлечься нельзя, настолько скучное это занятие, и что пройдет еще пять или десять лет, и переводчиков заменит компьютер. Кого-то заменит, наверняка, но писать, как Саша Левант, ни один компьютер не в состоянии. «Некурящий алкоголик — редкость, особенно в городе», — его перевод из занудного американского руководства, где авторы размазали эту мысль на абзац — да с такой фразы можно начать роман! Многие считали его основателем целой переводческой школы: избегайте синонимов, наукообразия, не пишите *практически*, это калька с английского, пишите *почти*, к черту *эмпатию* — есть *сочувствие* и *участие*, не надо нам *нижних конечностей* — слово *ноги* приличное, — никому-то это не интересно теперь, включая самого основателя, а некогда составляло значительную часть его жизни, главное ее содержание. Однако — долой фрустрацию-ламентацию, ушел и ушел.

Был у Саши и опыт устного перевода: с одним академиком, физиком, он поехал в Стокгольм на симпозиум — только-только начали из страны выпускать, — и академик нес ахинею, если его о чем-нибудь спрашивали, невозможно было переводить, и физики злились на Сашу — как же ему ни совестно до такой степени не понимать предмет? «А я не хотел, чтобы знали, чем я занимаюсь», — объяснил академик, когда они возвращались домой. — «Зачем же поехали?» — «Как не поехать? — вздохнул академик. — Стокгольм».

Последние годы Саша почти целиком потратил на мать: подрабатывал там и сям, нанимал и менял сиделок, покупал лекарства и памперсы — жил день ото дня, в целом справился, не пришлось даже Люксембург продавать. Теперь ему нужно какое-то время привыкнуть к праву распоряжаться собственностью, он сдаст квартиру (появился уже претендент, журналист большой немецкой газеты) и получит постоянный доход, достаточный для житья в Люксембурге, безбедного — более чем, — таков план. Есть какая-то справедливость в том, что в его квартире будет хозяйничать немец, Саша боится в ней даже мебель переставлять — ощущение, что явится мать и устроит разнос. Эля звонит ему время от времени — как человеку, любящему ее безусловно, как бёллевский Шнир, они даже видятся изредка. Ребенка она назвала Филиппом, однажды показала его спящим в коляске, и Саша подумал, что мог бы к нему привязаться. Олег — сенсация! — пьет (Эля выразилась возвышенной: страдает алкоголизмом). — Вот так история! Никто не пьет, а он пьет! — Саша смеется над ней? Она обижается, трубку бросает, но снова потом звонит.

Ложась спать, он вспоминает ее полные бедра, колени, родинку под лопаткой, смешные случаи из поездок в Европу: как в том же Париже, в жару, на скамейке сидели, ели мороженое. И толстая, не по погоде одетая тетка подошла к ним и закричала на смеси из трех языков: «Силь ву пле. Айс-крим — где?». Они отправили ее в нужную сторону, и тетка не удивилась, что ее поняли.

Такое прошлое, все вперемешку, но кто же помнит его последовательно, день за днем? Нет ведь задачи перебрать в уме свою жизнь целиком, как висельник перед казнью. Многое давалось легко — правда, потом отнималось. Но он не устал: и при том, что прожить предстоит существенно меньше, чем прожито, ощущения конца нет. Лет на двадцать, а то и на тридцать его еще хватит, nasledstvennosc очень хорошая. Терпение, терпение — необходимо наладить хозяйство (дом, сад), поставить матери памятник, Элю вернуть — с ребенком, естественно, усыновить мальчика: Филипп Левант — все лучше, чем Звездарёв,

в этом будет симметрия, рифма с собственным детством — пасынок, Люксембург, может быть, даже начать сочинять свое, а не выйдет (что скорее всего) — смотреть на деревья, на птиц, в местной школе преподавать — английский язык, математику.

Жарко. Он ходит по дому и устраивает сквозняки, поправляет картинки, стирает с них пыль, кое-что перевешивает. наброски, этюдики, Яков Григорьевич был человеком деятельным, и когда не хватало средств и фантазии изобретать, рисовал — замечательно для дилетанта — карандашом, углём. Женщина, обнаженная, лежит на боку, лицом к зрителю, но лица на рисунке нет. Кто — соседка? мать? Коленом, изгибом бедра похожа на Элю — он повесил ее у себя над кроватью.

Работает радио, Третий концерт Рахманинова, — не расслышал, в чьем исполнении — красивая, очень русская первая часть. Один из совладельцев издательства когда-то им всем обещал, что сыграет этот концерт, хотя ни дня не учился музыке, даже, кажется, нот не знал. Над ним смеялись, его не принимали всерьез: человек теплый, сентиментальный, всю жизнь на вторых ролях, и такая — жалко, что ли? — романтическая мечта. А потом он ограбил своих партнеров — вероятно, себе же во вред, — прибрал все к рукам, весьма неумелым, уж какой там Рахманинов. С научной литературы издательство переключилось на выпуск православных календарей, а Третий концерт вызывает у Саши вовсе не светлую грусть, как бы следовало, — нет, издательства жаль.

Еще о музыке: любимая их соседка, прожившая тихую, неприметную жизнь, напоследок взбрыкнула — велела похоронить себя под струнный квартет и указала, под какой именно, — естественно, в записи, откуда здесь, в Люксембурге, струнный квартет? В городе и запомнили только: выпендрилась, не под живую музыку, не под «Анданте» (так назывался местный похоронный оркестр — трубы, альтушки, тарелки, бас-геликон — ужасающий), нет, всегда была не как все.

Саша переключает программу: «В нашей стране, — оправдывается недавно испортивший себе репутацию миллиардер, — выбор простой: или устраивать революцию, или быть конформистом. На худой конец, слинять в Лондон. Я — конформист». Да, при таких деньгах и так заработанных набор возможностей, наверное, невелик. Миллиардов у Саши нет, он придумает для себя занятие.

Из всего намеченного он успел похоронить мать и посадить на могиле розу — первый посаженный им цветок.

II

— Неуважительно класть штукатурку на шифер, — говорит Святослав, строитель. Даже не так: «щикатурку» — там, откуда он родом, так говорят. Святослав достраивает веранду, приводит в порядок крыльцо. Скоро год, как он делает Саше ремонт.

Святослав — гражданин Украины, каждые несколько месяцев вынужден ездить туда и сюда. У Святослава огромная нижняя челюсть, толстые руки, он чрезвычайно силен. Жил поначалу в Шашином доме, но затем обзавелся тут, в Люксембурге, чем-то вроде семьи, настоящая же семья его осталась в Черниговской области. Как он представился — Святославом, так Саша и называет его. Тот зовет его то профессором (хоть Саша и не профессор, даже не кандидат наук), то Александром: полные имена без отчеств, в особенности трех-четырёхсложные, звучат странно, но так сейчас принято, в провинции еще более, чем в Москве. Исключения составляют таджики, они себя называют Толиками, поголовно, а женщины у них Маши. Как Кольки-Наташки в «Очарованном страннике»,

думает Саша и улыбается, первичная радость от пребывания тут, в Люксембурге, еще не прошла.

Он сюда переехал ранней весной, весна оказалась длинной и многочастной, с громадным количеством мелких подробностей, которых он прежде не замечал. Природу Саша держал от себя на дистанции и про клейкие листочки, колоннаду роц и вельветовую пашню знал в основном из книг. «Тишина тут такая, — написал он Эле однажды ночью, — что слышно, как тает снег». Она в ответ ограничилась смайликом — лучше, чем ничего. Хотелось бы знать, как зовут каждую птичку, не говоря уже о деревьях, кустах, — он обзавелся определителями: вот *Sitta europaea*, поползень, у забора растут земляная груша и краснотал, а с другой его стороны — дикий лук. Яблони не плодоносят, но как цветут! Можно привить, говорят, — нет, до таких вершин садоводства он не дойдет. Зато электрическую проводку поменяет самостоятельно, лучше любых монтеров: ничего сложного, главное действовать по-написанному — что называется, *by the book*.

— Профессор, взгляни-ка, все правильно? — Святослав протягивает бумажку с отпечатанным текстом.

Что это? — Святослав пожимает плечами:

— Иврит. — Саша не знает иврита? — Думал, вы все его знаете.

Не хочется разочаровывать Святослава ни в каком отношении. Саша уходит к себе, фотографирует текст, открывает компьютер: программа распознавания, транслитерация, перевод. «Определить язык?» — да. Идиш, а не иврит. *Ундзер фотер, вос ду бист ин хильм...* Ой, это же «Отче наш»! — единственная молитва, которую Саша может прочесть наизусть. Букву за буквой, тщательно, Саша сличает то, что принес Святослав, с тем, что он обнаружил в сети: все как будто бы правильно, только — зачем?

— Увидишь, профессор. А идиш, иврит — без разницы. — Святослав даже ему подмигнул.

Из очередной поездки на родину Святослав возвращается очень довольным — на-ка, смотри. Снимает рубашку, на правой руке его — татуировка: *אֱלֹהֵינוּ יְהוָה*, «Ундзер фотер», с начала и до конца.

— Хотел, чтоб про Бога и чтоб — не как все.

Эх, знал бы, зачем понадобится «Отче наш», нашел бы ему арамейский текст. Или греческий. Какова, однако, фантазия! Попросил разрешения сфотографировать, Эле отправил: на, погляди, что такое простой человек, не какой-нибудь жалкий любитель авторской песни. Эля, впрочем, от Звездарёва перебралась к родителям, на предложение приехать, наконец, в Люксембург отвечала: подумает. Конечно, пусть думает, лишь бы — сама.

Отношения с соседями носят характер эпизодический: Саша с ними здоровается, и они с ним здороваются и понемножку крадут — доски, песок, — Саша и не заметил бы, если б не Святослав. Ничего страшного, урон мизерный, Саша много благополучнее их. Два брата — то ли наследовали подруге Якова Григорьевича, то ли просто въехали в ее дом. Поговаривают, у них жена — одна на двоих, а так люди они непрактичные: продают в июне картошку, оставшуюся с прошлого года, ту, что сами не съели, и огорчаются, что плохо берут.

Один из братьев, грузный, медлительный, любит стоять у забора и наблюдать, как работает Святослав. Помощь не предлагает, только советует.

— Профессор, послать его?

Саша пожимает плечами, уходит к себе.

Благоустройство — дело вовсе не скучное, люди веками им занимались, и хотя по нынешним временам к любой собственности следует относиться так, что она не вполне твоя, что у кого-то руки пока не дошли отобрать (модное слово: «отжать») ее, до Люксембурга они у них вряд ли дойдут.

Напротив, сплошные приобретения: побывав на кладбище и по привычке заглянув в тайничок, Саша заметил на дне его красную книжицу — старый свой паспорт гражданина СССР. Как он там оказался? — загадка, и не верь теперь в подсознание и прочий фрейдизм. Саша рассматривает свою фотографию сорока-с-лишним-летней давности, пожелтевшую: испуганное лицо (реакция на фотографа — Саша пробовал улыбнуться, и тот сказал: «Закрой рот»), волосы коротко стрижены, чтобы не злить преподавателя НВП, полковника Долбenea, — самого полковника Саша не помнит, но такую фамилию не забыть. Рукой каллиграфистки выведено: *Александр Яковлевич Левант*, место рождения *Москва*, национальность *еврей*. Потерянный паспорт дал матери повод до конца ее дней повторять, что Саша теряет всё, хотя он с тех пор ничего вроде бы не терял из вещей.

Кладбищами в Люксембурге заведует дядька предпенсионного возраста с землистого цвета лицом и говорящей фамилией Згиблый — гоголевский типаж (Эле не забыть рассказать), — они познакомились, когда настала пора хоронить прах.

Саша явился на кладбище — в одной руке урна, в другой лопата, — и приготовился было копать, однако засомневался в последний момент, не спросить ли чьего-нибудь разрешения, и отправился в администрацию, по старому — горисполком. Згиблый сидел за компьютером.

— А, — махнул он рукой, продолжая смотреть на экран, — урны у нас так закапывают, без оформления. Сейчас позову чурбанов.

Речь шла о рабочих-таджиках. Саша отказался от них.

Згиблый взглянул на него, отвлекся от своего пасьянса:

— Или, знаешь что, напиши заявление. Не собаку хоронишь. — Пододвинул бумагу. — Сумеешь сам?

О том, умеет ли он писать, его не спрашивали давно. Саша похоронил урну, разбросал на могиле и вокруг нее семена травы, а следующей весной, когда уже переехал сюда, как он рассчитывал, насовсем, купил в магазине розовый куст («Роза парковая израильская»), посадил и стал бывать на кладбище часто: ему нравилась здешняя тишина, да и розе требовался полив — особенно, как выразилась продавщица, в период бутонизации (интересно осваивать новый лексический пласт). Згиблый еще пригодится — когда придет время устанавливать памятник, тот скоро будет готов. Скульптор, которого посоветовала художница из издательства (по совпадению, у него дача в здешних местах), показал эскизы: красиво и строго, немножко по-протестантски, без фотографии. Да и какую использовать фотографию: молодой красивой начальницы — он не помнит ее такой, — или древней старухи? — у Саши пока что нет цельного образа матери.

Странно жить без нее, не более, не нужно себя обманывать. Да, героизм и взбалмошность. И желание влиять — вот что преобладало в ней. Однажды в момент глубокого кризиса в отношениях с матерью он прочел книжицу, американскую, под названием «Как ужиться с трудными родителями». Она открывалась предупреждением: «Вам их не переделать, зарубите себе на носу», затем шла анкета, подробная, с баллами по каждому пункту, мать набрала максимум, более трудный характер, чем у нее, авторы-составители не могли и вообразить.

Жаль, он так и не вспомнил ничего трогательного тогда, на Пятницкой, но было ведь кое-что. Например, из последнего — сиделка варила картошку и положила в нее чернослив, и мать посмотрела на то, что вышло, задумчиво и сказала: «Мне так мама моя готовила». Ничего как будто особенного, но трогательно, разве нет?

Итак, посажена роза, алая, два цветка распустились, четыре бутона скоро должны подойти. Саша сидит на скамейке, смотрит на розу и думает. Нужно принять решение, как поступить с братом — не тем, расплюснутым, — и зачем

он тогда рассказал, разве эта история сильно тревожит его? — он, вероятно, и вспомнил пергаментный плод, чтобы отвлечься от Эли с ее пышными соболезнованиями («теперь ты стал взрослым», «с уходом Марии Ильиничны эпоха ушла» и т. д.), — как объяснишь, что Эля на самом деле хорошая, добрая? Мысли Саши заняты братом иным, настоящим, чьей фамилии он не знает, известно лишь имя, и то приблизительно, и год рождения.

Лет пять или шесть назад мать, находясь еще в здравом уме, сообщила, что у нее имеется сын, которого она родила во время войны, в сорок втором, в промежутке между ответственными заданиями, и сразу же отдала в приют, в детский дом, в городе Кирове. Отец? — Саша плохо себе представляет те времена. Она говорила спокойным тоном, с сознанием собственной правоты. Назвала она мальчика редким именем Еремей, но может быть, Ермолай, она выбирала между простыми русскими именами и забыла, на чем в итоге остановилась. — Гашиш? При чем тут гашиш? — за почти что семьдесят лет не такое можно забыть. Фамилию мальчику, естественно, дали новую, и адреса детского дома нет, но Саша разыщет старшего брата без особенного труда, она совершенно уверена. Есть же этот, как его, интернет. Больше она к разговору о брате не возвращалась.

Представим себе, рассуждает Саша, что следы Ермолая — ему больше нравится Ермолай — в самом деле получится отыскать: не так уж много детских домов в городе Кирове. Пожилой мужчина, за семьдесят (жив ли вообще?), совершенно чужой, с придуманным детством, вымышленными родителями — героями, погибшими на войне или в сталинских лагерях, — он, Саша, должен разрушить иллюзии, которыми Ермолай тешил себя всю жизнь. А если вдруг у него были отец и мать, и он их считает родными? Что ему Саша предложит взамен: трофейную мебель, квартиру в столице? Объявит о благородном происхождении, как в романе «Оливер Твист»? Неприятно — нотариус, необыкновенно болтливая, сказала, оформляя права наследства: «Повезло, что вы единственный сын. Только представлю, как мои обормоты квартиру станут делить...» — и засмеялась в голос. Отчего-то Саше невесело: надо бы Ермолая все-таки поискать.

Ночью, видимо, прошел дождь, к ботинкам пристаёт грязь, зато дышится хорошо. Саша идет по дорожке, разглядывает надгробья, кресты, читает фамилии, среди них попадаются очень занятные. Совсем рядом: Поцелуева Евстолия Африкановна. Испуганная старушка, не такая и древняя — немногим старше него, Саши, нынешнего, но в шестидесятые, когда была сделана фотография, люди старели рано, особенно в сельской местности. Похожа на Сашину нянюку, последнюю, кто напугал ее — тоже фотограф, наверное? Внутри ограды, просторной (одна из могил свежая), есть плиты с другими фамилиями, обыкновенными, но запоминается Поцелуева.

О, вспомнил трогательное. Перед тем как слечь окончательно, мать попросила его достать из далекого ящика секретера, с самого дна, папку с тиснением «Госплан СССР». Сказала: «Это счастливая папка. Когда бы я ни ходила к начальству с ней, мне ни разу не отказали. Не потеряй». Саша тогда улыбнулся, кивнул, он не верил в приметы, но папку госплановскую сохранил.

— Мишурдик! — раздается вдруг женский голос. И снова: — Мишурдик!

Сюда, к Поцелуевым, приближается толстый мужчина неопределенного возраста, в руках у него хозяйственные принадлежности и пакеты с едой. «Мишурдик» (скорее всего, Михаил) смотрит на Сашу растерянно. Появляется женщина, тоже крупная, неопрятная, под стать мужу. Тот вытаскивает бутылку и закуски, раскладывает на скамейке: зефир, банка шпрот, мармелад, огурцы. Мадам Поцелуева — так Саша ее окрестил — смотрит внимательно, не мигая, рот у нее приоткрыт, как будто она собирается с мыслями. Неловкий момент.

— Прощу меня извинить, — Саша уходит к себе.

Он сидит на скамейке и не виден теперь Поцелуевым, между ними ограды, деревья, кресты. Но его одиночество длится недолго: минут через пять появляется Поцелуева со стаканчиком, наполненным желтой жидкостью, ставит его возле Саши.

— Красить пора, — ковыряет ногтем ограду. — Помянете с нами? Домашнее.

Жидкость выглядит подозрительно, да и с какой бы стати поминать неизвестного кого? Саша решает соврать: врачи запретили ему алкоголь.

— А-а... — она машет рукой. — Степан Тимофеичу тоже всё запрещали.

Степан Тимофеевич — свекор ее, тот, кого надлежит помянуть.

— Семьдесят семь, я считаю, нормально. — Она продолжает, без остановки: — Розу зря посадили, даже искусственные крадут. — Наклоняется, так что шея ее и грудь с каплями пота оказываются против Сашиного лица.

— Меня Светланой зовут, а вас?

Смесь запахов: пот, перегар, парфюмерия, — как бы ему ускользнуть?

Он встает, называет себя. Она вдруг очень вдохновлена:

— Александр! Какое хорошее русское имя! — Останавливается, смотрит Саше в глаза: — Русское?

— Да, — отвечает он. — Русское. Имя русское.

Греческое, если быть точным, *алексо* по-гречески — защищать, но слишком ясно, о чем она спрашивает.

— Все, мне пора.

Одним глотком выпивает «домашнее», по дороге к выходу с кладбища натykaется на Мишурдика, говорит, тоже неожиданно для себя:

— Давайте дорожки сделаем. Я привезу гравия.

Мишурдик кивает: мы поучествуем.

Згибловские «чурбаны» разбросают песок с гравием по тропинкам между оградками и возьмут неожиданно дорого, и когда ближе к осени Саша с Мишурдиком встретятся в городе, тот к нему подойдет: «Поговорили с супругой. Мы не будем участвовать», — ладно, переживем.

Так что к пропаже розы Саша был подготовлен, но когда та исчезла — осталась лишь ямка в земле, — сильно расстроился: роза с могилы — не доски и не песок. Представил себе старика-алкоголика, уже не способного собирать бутылки, тем более металлолом. Дрожащими, скрюченными руками старик достает из земли цветок, предвкушая, как продаст его дачникам, как сделает первый глоток. Посадить ли еще одну розу? Вспомнил соседку, ту самую, у которой — душа, — всякий раз, уезжая, она прикрепляла к воротам записку: «Дом заговорен от грабежа на болезнь и смерть», — соседка определенно была филологически одарена.

Пожаловался Святославу (отродясь не сажал растений, и на тебе!), тот покачал головой и — выдающийся человек — в ближайший рыночный день принес Саше розу, по-видимому, ту самую. Как удалось найти ее? — Есть вещи, о которых профессору лучше не знать. Саша себе представляет: силач Святослав подходит к полумертвому от «домашнего» или «фуфыриков» (веселое слово, недавно узнал) старичку, продающему одинокую розу, берет его за плечо, поднимает с земли... — нет, правда, лучше не знать. Розу они посадили возле веранды, а Святослав, любитель священного, удивил и тут — перед тем как в землю ее опустить, произнес: «*Бисмилляхи рахмани рахим*», — во имя Аллаха. Татары, сказал, научили, — чтоб лучше росло.

Зачем он все время ходит на кладбище? Нет ли здесь нездоровья? — спрашивает Эля, они теперь разговаривают едва ли не каждый день. — Во-первых, после стука и скрежета, производимого Святославом, хорошо побыть в тишине, во-вторых, так уж Саша привык, еще мальчиком, он же рассказывал ей про тай-

ник. И потом надо все подготовить к приезду памятника — последняя вещь, которую он должен сделать для матери. Площадку залить и так далее, а Свято-слав при неисчислимых его достоинствах, вдруг отказался ему помогать, он боится покойников, даже когда они под землей. Звездарёв не боялся покойников? — Да черт его знает, чего он боялся. Звездарёв — прошедшее, прошлое, *past indefinite*. — Кроме того, Саша вовсе не все свое время проводит на кладбище. Вчера он ходил в кафе. Или позавчера? Дни наполнены событиями малозначительными, как в поезде дальнего следования, как в санатории. Сегодня он снова пойдет в кафе. Семья его состоит из одного человека, нелепо готовить обед себе самому, да и он не умеет: пробовал стряпать по книжке («Кулинария для чайников» — название то еще, согласись), но дошел до слов «припустить» и «сколько возьмет» и решил не связываться. Эля смеется: «соли и специй по вкусу», «варить до готовности», она подучит его, и он радуется этому *future simple* — простому будущему.

В кафе его привлекает не столько еда — он знает меню наизусть, — сколько вид на реку и возможность смотреть на людей. Река стала узкая, мелкая — на ней когда-то стояли бакены и весной приходило огромное судно, углубляло фарватер — теперь не приходит, но все же — река. Во времена его юности бакены загорались светом по вечерам, летом налаживали паромную переправу, а какой музыкой звучали слова: дебаркадер, плашкоутный мост (в нескольких километрах вверх по течению), особенно Саше нравился земснаряд (полное название его — землесосный снаряд — куда прозаичнее).

Середина августа, видны уже признаки осени. Саша сидит на улице под навесом, смотрит на воду, ждет, пока принесут еду. Он чиркает спичкой — кто-то забыл коробок — и гасит ее, вдыхает дым, он когда-то любил этот запах — горелой спички, вспоминает, как назывался табак, который курил Яков Григорьевич. Эля спросила на днях, есть ли тут, в Люксембурге, приличная школа, — благоприятный знак. Она сильно переменялась в последние несколько лет. «Мужчины стареют, а женщины меняются», — кто сказал — Гёте? Сама Эля училась во вполне знаменитой московской школе, но не умеет в итоге даже складывать дроби. Что делается в голове человека, не знающего сложения дробей? С другой стороны, а зачем их складывать? Он, Саша, — мало ли чего он не знает, например, элементарной теории музыки. Эля, правда, тоже не знает теории музыки. Его отвлекает вскрик — скорей, всхлип — из-за соседнего столика:

— Что? Таджики будут пить из чашки, из какой мои дети пьют?!

Группка женщин среднего возраста, вполне привлекательных (до Эли, конечно, им всем далеко), на столе бутылка шампанского. За вскриком следует обсуждение, позволять ли таджикам пользоваться уборной — ведь придется пускать их в дом, меньшее ли это зло, чем если они будут справлять нужду на участке, под кустиком: а если опять-таки дети увидят, а если они, чего доброго, поедят смородины, на которую помочился таджик? — московские дачницы. Скоро они разъедутся, а он, Саша, останется. Он не дачник: у него и родители тут похоронены, и, будем надеяться, пасынок в школу пойдет. Саша воображает: бредущий в утренних сумерках мальчик, с гигантским, на вырост, портфелем, даже имя соответствующее у него — Филиппок.

Саша тоже выпьет вина: сегодня особенный день, наконец установлен памятник. Белый каменный крест, вписанный в круг с символическими изображениями евангелистов — лев, ангел, орел, телец, — Левант Мария Ильинична, 1913–2014, — изящно и строго. Скульптор, Анатолий Васильевич, остался доволен — работой и гонораром. Сухонький, быстрый такой старичок — если б не руки в костных мозолях (следствие травм), похожий более на бухгалтера, чем на художника, — Саша любит таких старичков, и руки его ему нравятся. Даже

Згиблый, заведующий кладбищем (он выделил своих молодцов, они оказались киргизами), одобрил: «Нормальный вариант», годы жизни Марии Ильиничны произвели на него впечатление. Жаль, Анатолий Васильевич задержаться не смог, но обещал навещать, следить — сказал: «Интересно, как камень себя поведет», что бы это ни значило.

— «Цинандали» теперь по бокалам.

Лицо молодой официантки непроницаемо. В прошлый раз он заметил бутылку с портретом вождя и фальшивой цитатой: «Когда я умру, на могилу мою нанесут много мусора, но ветер времени...» и так далее — параноик-генералиссимус не сказал бы «Когда я умру», жить собирался вечно, как все они. Саша спросил сколько мог равнодушно: «А нету такой же, но с Гитлером?» Официантка его поняла: «А чем вам не нравится Сталин?» — «Чтоб не входить в подробности, он убил миллионы моих соотечественников». — «А-а...» — протянула она, словно он сообщил, что у него аллергия на шоколад. Хорошо еще, уточнять не стала, кто именно его соотечественники. Но в целом — успех: «Цинандали» отныне в розлив.

Итак, окончен ремонт, стоит памятник: последний его долг матери, если не считать Ермолая, отдан, даже кое-какие растения посажены. Первые дни сентября: только восемь часов, а почти что темно, главный дефект люксембургской жизни — улицы не освещаются. Саша включает прожекторы, со всех четырех сторон: свет, больше света — *mehr Licht!* Усаживается на скамейку, достает телефон, пишет Эле: «Хороший, не омраченный дурными переживаниями день. Позанимался немецким, освободил смородину от шиповника, дикого винограда и сорняков — всего, что за годы на нееросло. Тем, кто не ведет дневника, должно показаться, что сами они так мало за целый день никогда не делали». — «Как там, за МКАДом, все хорошо?» — спрашивает Эля. — «Сама ты за МКАДом. Да, хорошо. Приезжай». Совсем уже ночью приходит ответ: «Пуркуа бы не па. Мы с Филом думаем в начале недели перебраться к тебе. Если примешь».

Сбылось! В нем поднимается бурная радость, как в юности: бьешься-бьешься над трудной задачей и вдруг — вот решение, только записывай! Когда оно должно наступить, начало недели? — Саша утратил счет дням. Почти невозможное счастье, у него скоро будут домашние, ближние, все не зря.

Он долго не может уснуть в эту ночь: бродит по дому, не такому уж маленькому, рассматривает его глазами Эли, вспоминает тело ее и руки, всегда готовый смеяться рот — черт, как он соскучился. Наконец укладывается в постель, ворочается, снова встает, поправляет чуть съехавший набок рисунок (силуэт неизвестной женщины — уголь, картон), засыпает уже на рассвете. И ему снится сон — что он выиграл олимпийский забег на необычной дистанции, очень короткой. Дорожка была сначала прямой, потом забирала влево, шла зигзагами вверх и вдруг — финиш, ленточка. Саша бегал посредственно, но — Олимпийские игры, он сделал усилие и победил. Успех повлек за собой и кое-какие хлопоты: золотые медали сдают в спорткомитет, ему полагается позолоченный дубликат, но ведь он не спортсмен! Просто выиграл, один раз, и медаль сохранил, отказался сдавать ее. Саша не помнил снов и не любил толковать их, но этот ему понравился, и он лежал, перебирал подробности в голове.

Он запомнил это утреннее свое лежание в кровати, блаженное одиночество — впервые за долгое время оно доставило ему наслаждение: оттого что скоро закончится, — слабый запах недовыветрившейся краски, солнечный свет из-под двери, смешной бессмысленный сон — последнее благополучное утро, последний мирный момент его люксембургской истории.

Телефон. Анатолий Васильевич, скульптор, говорит, задыхаясь:

— Александр Яковлевич, беда. Приходите скорей на кладбище.

Ундзер фотер... — бегом, туда.

III

Возле входа на кладбище, прислонясь к забору, стоит Анатолий Васильевич: лицо бледное, дышит нехорошо. У старика случился сердечный приступ, однако на предложение вызвать скорую помощь или хотя бы такси Анатолий Васильевич машет рукой: проходит, почти что прошло, идите, Александр Яковлевич, посмотрите, что натворили с памятником.

И вот что он видит, придя на могилы: следы от огромных ботинок повсюду, особенно в правом углу, где похоронена мать, человеческие экскременты и черную свастику — и по задней поверхности памятника, и по передней — поперек ее имени. У Якова Григорьевича на плите написано СМЕРТЬ ЖЫДАМ, через «Ы».

Когда-то давно, в девяностые, — Саша тогда только-только начал водить, — его прямо посередине дороги больно схватил за лицо один тип, которому не понравилось, как Саша перестроился в его ряд, — он загородил Саше путь, вылез, сунул в окно отвратительную мясистую руку и схватил пятерней, со всей силой, за щеки, за нос, надавил на глаза. Когда боль отпустила и зрение вернулось, Саша погнался за ним, не зная еще, что предпримет, если удастся настичь, но, конечно же, не настиг. Ту же ярость и даже похожую боль в глазах он испытал и теперь, только гнаться ему было не за кем.

— Все отчистим, все ототрем, Александр Яковлевич, это не краска, а уголь, — приговаривает Анатолий Васильевич.

Нет, до приезда полиции оставим как есть. И подавать заявление Саша пойдет один: нечего делать в полиции человеку, у которого сердце болит. Анатолий Васильевич и не настаивает на том, чтоб идти. Он бы вообще не ходил никуда — привести все в порядок и поскорее забыть, так бы он поступил, он не любит полиции. Но разве дело в любви?

Спустя час Саша сидит в полутемной комнате Люксембургского ОВД и ждет следователя, тот занят — надо срочно отправить факс (кто сейчас отправляет факсы?), а потом они вместе съезжают на кладбище. Или сходят: недалеко. Фамилия следователя — Грищенко, чин его неизвестен, надо думать — не самый большой. Пока что Саша смотрит за тем, как работает Грищенко: роется в грудке бумаг — потерял документ. Глупо бумажки хватать наугад и бросать их обратно: расчисти пространство и складывай туда все ненужное. Сколько бумажек тут? — предположим, двести, — по три секунды на каждую, работы от силы на десять минут, а иначе — какова вероятность того, что за двести случайных попыток ты ничего не найдешь? Давайте сообразим: единица минус единица, деленная на n , закрыть скобку, в степени n . Чему равен предел этой функции? Интуитивно — единица на e . Саша проделывает кое-какие действия: да, так и есть, $1/e$, почти что сорок процентов, — вероятность приличная.

Саша немножко пришел в себя, не в последнюю очередь из-за решенной задачки, и разглядывает теперь следователя. Грустное впечатление: форма висит, словно с чужого плеча, кожа нечистая — результат ветрянки (не срывая оспин, учат ребенка, — тот не слушал, срывал), не усы — подобие усов. Нашел! — и двадцати минут не прошло. Грищенко сует документ в аппарат, набирает номер, но забывает скрепки извлечь, разъединить страницы, и факс их сминает, рвет — только выбросить, но и в мусорную корзину у Грищенко с первого раза попасть не выходит — ужасная мука написана у него на лице. С таким выражением он, должно быть, когда-то стоял у доски и слушал подсказки класса: кто-то подсказывал верно, кто-то нарочно неправильно, чтобы поиздеваться, и он выбирал неверный вариант, и над ним потешались. В школу, которую Саша заканчивал, мальчиков вроде Грищенко не принимали, но в той, что была возле дома и куда он ходил до пятого класса включительно, их было немало, и Саше от них доставалось, хотя он-то всегда подсказывал правильно.

Так, господин, гражданин следователь, — как сейчас принято обращаться? — Я не следователь — дознаватель, — говорит Грищенко плачущим голосом. Кем бы он ни был, пора наконец перейти к делу: совершено преступление — осквернение могил обоих его родителей, вандализм. Саша и кодекс успел посмотреть, пока ждал, он называет статьи и просит принять у него заявление.

Выражение боли на лице дознавателя все усиливается. Чуть заикаясь, Грищенко просит еще подождать, куда-то уходит, потом возвращается, производит ряд действий очевидно бессмысленных, зажигает и гасит свет, ни с того ни с сего предлагает воды. — Спасибо, вода не нужна. Саша напоминает: он пришел подать заявление. На кого, на чье имя его написать?

— Вы человек культурный... — произносит Грищенко.

Пусть так, что с того? — А вот что: осквернение кладбища — новость не городского значения и даже не областного, а федерального. Федеральная новость — от журналистов скрыть не удастся, у них свои люди везде.

— Газеты напишут и будут использовать... э... в интересах...

В чьих интересах можно использовать испражнения, свастику? — как человеку культурному, Саше, видимо, предлагается дать ответ самому. В любом случае Грищенко просит повременить с заявлением.

Кое-что любопытное удастся, однако, узнать из речи его, невнятной, сбивчивой: у люксембургской полиции неприятности с ФСБ. В ходе учений — трудное слово, «контртеррористических», — к ним в ОВД подбросили сумку, простую, хозяйственную, с торчащими из нее проводами. Полицейские посмотрели на сумку и просто вышвырнули, и никто о ней куда следует не сообщил, а должен был, но — с какого? — ведь ясно же: фээсбэшники и подбросили, «у нас в Люксембурге нету других террористов» (Саша отметил этот неожиданный оборот), а оно надо им — лишний раз разговаривать с ФСБ? Придется всем отделением писать объяснительные. Как ни скверно было у него на душе, но Сашу расказ Грищенко немного развеселил.

— Кого-то подозреваете? — вздыхает Грищенко.

Почему он вздыхает? Нормальный вопрос. Никого.

Грищенко выглядывает в окно:

— Дождь будет. А обещали солнце. — Снова бедного Грищенко провели.

Саша спохватывается: дождь уничтожит, размочит следы, едем, скорей. — Ехать не на чем: машины — одна в районе, другая сейчас на обеде, так что пусть он идет вперед, а Грищенко — следом, догонит его. Он тут работает за троих: один сотрудник уволился, двое в отпуске. — Значит, за четверых? — он не понял. Такое отсутствие сообразительности не вызывает уже раздражения, только сочувствие. Надо спешить на кладбище, но что это было, зачем он ходил в ОВД?

Моросит дождь, и, пока не размокла земля, не размылись следы, необходимо успеть все измерить, сфотографировать. Саша занят исследованием улики: снимает на телефон каждую вмятину на земле, с разных сторон — видимо, тут побывали двое, оба с огромным размером ноги: тридцать три сантиметра — длина каждого отпечатка, но их рельеф различается. От друга-врача Саша слышал, что наблюдать за вскрытием трупа со стороны куда неприятней, чем самому копошиться во внутренностях, и теперь, поневоле став сыщиком, Саша сосредоточен на том, чтобы выполнить работу свою хорошо. Свастика — сзади и спереди, СМЕРТЬ ЖЫДАМ — со вспышкой и без. Как поступим с биологическим материалом? — тоже сфотографировать, положить на лопату, вынести за ограду и закопать: наивно надеяться, что полиция станет искать в фекалиях человеческую ДНК.

Несколько раз он выходит к воротам кладбища посмотреть, не пришел ли Грищенко. Саша вымок, он голоден, но ему еще предстоит вернуться домой, напечатать снимки на принтере, не в фотостудию же отдавать, — ничего, сго-

дятся и черно-белые, он подумает и о том, не создать ли ему самому федеральную новость, а то и международную — например, позвонить журналисту немецкой газеты, который в квартире его живет. «Все хорошо, что хорошо кончается», *Ende gut, alles gut*, — то-то повеселятся читатели: нет, нельзя, чтоб такое попало в печать. И от Эли скрыть не получится, он сегодня совсем не думал об Эле, не думает и теперь — надо ли ей рассказать. К счастью, до их приезда есть еще несколько дней.

Ближе к вечеру Саша снова идет в ОВД, вручает Грищенко фотографии, тот просит прощения — закрутился сегодня, не поспел на кладбище, — хвалит качество снимков: на каждом из них нанесен размер.

— Можно уже никуда не ходить.

Это вопрос или утверждение? — Грищенко подобострастно кивает. Он найдет злоумышленников, «злодеев» на их языке, обещает он: таким бодрым тоном, думает Саша, лгут умирающим.

— Не подозреваете никого?

Нет, Грищенко уже спрашивал. Разве что... Но Мишурдик невысокого роста, ни у него, ни тем более у мадам Поцелуевой не может быть такого размера ноги. А калоши надеть? Слишком дикий, безумный поступок для обывателей. Старичок-алкоголик — тот, что розу украл? — немыслимо, он и розу-то выкопал аккуратнейшим образом. Саша помотал головой: у него врагов нет.

Грищенко внимательно разглядывает плиту Якова Григорьевича. Наверное, вспоминает правило про жи-ши с буквой «и».

— А отчего именно ваше захоронение подверглось... э...

Саша подсказывает: надругательству. Оттого, вероятно, что других еврейских фамилий они поблизости не нашли. Он опасается глупой реакции — и предсказуемой (что у Грищенко, например, был в армии друг-еврей), но тот принимает его объяснение спокойно: наличествует состав статьи два восемь два — возбуждение ненависти по признаку национальности. Затем Грищенко вполне почеловечески объяснил, что его собственного прадеда звали Моисеем, хотя он был из крестьянской семьи. Бабку Грищенко дразнили еврейкой, пришлось ей даже поменять отчество. То ли у духоборов, то ли у старообрядцев встречаются ветхозаветные имена, надо бы успокоить Грищенко: бабу, возможно, дразнили зря.

Следует, однако, признать: дознаватель во вторую их встречу произвел впечатление иное, чем в первую, — человека менее простодушного. Может, и правда, найдет? «На кладбищенских алкашей не похоже», сказал Грищенко. О такой категории граждан Саша не слышал. — «Пасутся на кладбищах: у нас принято водку умершим оставлять», — Саша не знал и об этом обычае. «Кто-то из молодежи», — думает Грищенко. Сколько тут, в Люксембурге, людей в возрасте от пятнадцати до тридцати? Предположим, тысяча. Девочек исключаем, часть юношей служит в армии, уехала в большой город или уже сидит. Число подозреваемых уменьшается до, скажем, двухсот. У скольких из них подходящий размер обуви? — в таких мыслях Саша приходит домой.

После того, автомобильного, происшествия, с рукой в окне, было все-таки по-другому: выругался, остыл и поехал дальше. Холодно, сыро, почти темно. Что будем делать? В книжке, психиатрической, той, что Саша переводил, в главе про помощь жертвам насилия было написано: ни в коем случае нельзя мыться — до экспертизы и прочих следственных действий. Но как побороть в себе это желание, настолько естественное? Грабли, фонарь, губка, мыло, ведро — он снова идет на кладбище, и уже через час могилы приведены в порядок: земля выровнена, камни вымыты — следы насилия устранены.

Остави мя сила моя. Саша вернулся к себе, он сидит на кухне, не зажигая света, и горько плачет, как в раннем детстве. «Всячески избегайте приписывать себе статус жертвы» — исключительно дельный совет. Он умывает лицо, выгля-

дывает во двор. Чего Саша ждет: бури, падения деревьев, воя собак, — того, что природа как-то отреагирует на случившееся — ужасное, непредставимое? Нет, тишина, Люксембург спит.

Есть не хочется, но выпить не повредит. Он находит в буфете Рижский бальзам, тот простоял здесь лет сорок, сбивает сургуч — сладкая, липкая гадость, довольно крепкая. Глоток за глотком выпивает целый стакан и лежит теперь мучится сердцебиением. Спать? Заснуть удастся совсем ненадолго и только под самое утро. Опять яркий сон: незнакомый страшный старик, брат его, Ермолай, шумно испражняется на могилу матери, их общей, — ясно, предельно, нечего толковать.

IV

«Женщина воспринимает мужчину всерьез только в двух случаях: если он занят автомобилем или другой женщиной», — шутил Яков Григорьевич, — как любая универсальная мудрость, эта верна не всегда. Эля восприняла Сашины зловещие всерьез — приехала, без Филиппа, они погуляли, поужинали, провели вместе ночь. На кладбище не ходили: она не просила, Саша не предлагал. О планах не говорила, не плакала, не выражала болезненной жалости. Отдала должное его хозяйственным достижениям. Утром уехала. Она — жена его, им надо вместе искать выход из положения, ей жаль, искренне, что Люксембург не оправдал надежд.

С Элей они официально не развелись: оба не придавали значения формальностям, и Филипп, выясняется, уже от рождения Левант. А что до надежд, то сдаваться не следует, так он считает: случилось несчастье, авария, но если найти виновных и должным, законным, образом их наказать, то преждевременно ставить на Люксембурге крест (нехорошая игра слов — про крест, но сейчас не до этого).

— Сашенька, твой — как его? — Немченко, Демченко никого не найдет, да еще и объявит в итоге, что все-то ты просто выдумал. Или хуже: сам же нарисовал.

В провинции много абсурда, глупости («идиотизм деревенской жизни», гласит коммунистический «Манифест»), но все же не до такой степени. Для чего бы ему самому рисовать свастику?

— Мой дорогой, перед кем ты оправдываешься? Придумают, для чего. Для дестабилизации обстановки. Ты телевизор не смотришь, а я иногда смотрю, поскольку — родители.

Можно не продолжать. Но ведь и оставить все так невозможно. — Эля кивает: да, невозможно, наверное. Но изнасилование, по ее мнению, метафора не совсем точная.

— Бывает, машина, перевернувшись, становится на колеса и — дальше поехала, — но это уже скорее про их семейную жизнь.

Саша целует ее: езжай осторожно, он благодарен ей — за приезд, понимание и за то, что она уехала.

В интернете отыщется все: тридцать три сантиметра — 47-й размер. «Стопа россиян в целом чуть шире в пучковой части, где косточки, и выше во взъеме, можно сказать — поразлапистей», — интервью с итальянцем, директором дома обуви, кто-то очень недурно его перевел. А вот и статистика: 47-й и выше размер встречается лишь у каждого сотого из взрослых мужчин. Каков шанс того, что именно у двоих люксембургских жителей 47-й? Если подумать, сосредоточиться, можно было бы сосчитать, но ему плохо думается.

Саша бродит по городу и смотрит на ноги людей. Даже когда Святослав заходил — забрать инструмент, — Саша взглянул на его ботинки — большие, надо сказать. На кладбище идти боязно, хорошо бы установить камеру — такую же-

лательно, чтоб работала в темноте. Могут ли они предпринять еще одну вылазку? Грищенко утверждает, что нет. Саша встречается с ним регулярно — спрашивает, движется ли расследование.

— Это слово по-белорусски пишется через «ы», — последнее открытие Грищенко.

«Это слово» — да-да. Поищите среди белорусской диаспоры. Скоро, он ждет, Грищенко сделает и другое открытие: что свастика — древний индийский символ чего-то там — Солнца, благополучия. Разговоры их превращаются в переругивание: Саша грозит опубликовать фотографии, Грищенко жалуется на невыносимые условия труда, а то, заикаясь, рассказывает истории, которые вряд ли выдумал — он не кажется человеком с фантазией, — но которые и на правду похожи отнюдь не всегда.

Например, в соседнем районе сын какого-то очень большого начальника застрелил четверых и пытался от трупов избавиться (сжечь), был пойман за этим занятием, и теперь следователям называют из Москвы, просят войти в положение: молодой человек ошибся, запутался. — К чему он, однако, ведет?

— Александр Яковлевич, у вас никого не убили, даже не изнасиловали. — «Изнасиловали», так Грищенко произнес.

Еще он сказал: «нам здесь жить». Или «вам здесь жить»? — близкие, но такие разные фразы по смыслу, Саше придется услышать ту и другую не раз, как и про дестабилизацию обстановки: «Мы отработываем все версии», — права была Эля, прав Анатолий Васильевич, — не найдут.

Саша сгребает в кучу состриженную траву, поджигает ее. Зола — идеальное удобрение для розы, а на зиму ее лучше всего укрывать дубовыми листьями, они не гниют и замечательно держат тепло, — знание такого рода раньше доставляло ему удовольствие, как средство сцепления с жизнью (с «реальной жизнью», как говорят), но теперь рутина — обрезать сирень, слить на зиму воду из уличных труб, поливальную бочку перевернуть, заткнуть продухи — причиняет тупую боль: зачем, для кого? Он и немецкий забросил. Чем-то надо, однако, занять свой день: алкоголь потреблял он всю жизнь только изредка, в малых количествах, и из вредных привычек имел лишь одну — шахматы в интернете — как семечки, чипсы, как сладкая вата — до тошноты.

Играть его научил, разумеется, Яков Григорьевич — показал ходы. Сам он очень неплохо в шашки играл, столеточные, — была когда-то у Якова Григорьевича мечта: стать мастером по игре в шашки, отправиться на международный турнир и остаться, сбежать, но мастером он не стал. В школьные годы Саша учился в кружке МГУ: этюды решал, изучал дебюты и окончания, ходил на матч претендентов Карпов — Корчной (чемпионом в то время был Фишер) — играли в Колонном зале Дома союзов, и Саша, один из немногих, болел за Корчного — тот был старше, проигрывал, и в нем ощущался надлом. Как, по словам его школьного друга, опыт жизни в СССР затем лишь и нужен, чтоб жить в СССР, так и шахматы учат только тому, чтобы лучше играть в них: занимаясь ими всерьез, не станешь ни математиком, ни поэтом, ни тем более — здравомыслящим человеком, разве что силу характера разовьешь. Тот же Фишер себе удалил зубные коронки и даже остатки зубов, поскольку решил, что дантисты-евреи разместили подслушивающие устройства у него во рту — псих ненормальный, но в твердости убеждений ему отказать нельзя.

А еще, когда Саша учился в десятом классе, в школу к ним приезжал Ботвинник. «Михаил Моисеевич, — спросили его, — как вы относитесь к поступку Корчного?» (Тот осуществил мечту Якова Григорьевича — удрал из страны). Ботвинник ответил: «Так же, как вы», — и ребята, часть из них, но большая, долги ему аплодировали, и в сеансе одновременной игры Саша едва не сделал с Ботвинником ничью.

Словом, способности к шахматам были какие-то, кое-какие, и вот, чем они обернулись: Саша лежит на широкой кровати или сидит за столом и целыми днями играет блиц — против соперников со всех концов света, в сети их десятки, возможно, и сотни, тысяч.

Контроль времени — три минуты, максимум пять, дольше нельзя: каждый каждого подозревает в нечестности, в использовании программ, которые уже сильнее Фишера, противники подбираются случайно, по рейтингу, он у Саши довольно высокий, более 1900. Соперник из Ливии, а следующий из Албании — что там творится? — Саша охотно вступил бы с каждым из них в диалог, но отвлекаться не принято. Только украинцы, увидев русский флажок рядом с его фамилией, иногда пишут: «С оккупантами не играю», — что им ответишь? Саша против того, что делается его именем, но что он предпринял — спрятался в частную жизнь? Добрый немец, *good German*, — есть в английском определении, как раз для таких, как он.

Западные европейцы и американцы, попав в заведомо проигрышное положение, быстро сдаются, хотя и не все — некоторые доигрывают до голого короля, неспортивное поведение. Хуже — арабы, индийцы, греки, особенно те, у кого рейтинг пониже, придумывают всякие трюки, но опять-таки, если мы признаём, что ответственность может быть только личной, лучше о национальном характере не рассуждать.

Саша, полуодетый, на кухне, перед ним недоеденная яичница, остывший чай. На экране противник из Сирии, Саша играет белыми, быстро-быстро они шлепают фигурами по доске. Эх, отключился сириец, связь прервалась, через тридцать секунд ему будет засчитано поражение. Не станем ждать тридцать секунд, прервем партию, тем более что у сирийца никак не хуже позиция. Между прочим, Левант и есть Сирия, Ханаан. Сириец вернулся, благодарит: *thx*, предлагает добавить в друзья. Где он, в окопе сидит? — Нет, — смайлик, — в Германии. Давай еще одну? — Саша загадывает: если удастся выиграть, то найдут. Проиграл. Что, до трех?

Звонит Эля, он отвечает ей односложно, она слышит щелчки, сопровождающие каждый ход, он обещает перезвонить, забывает свое обещание, она обижается. Она ненавидит его привычку, да Саша и сам бы рад избавиться от нее, но чем заполнить тогда пустоту? — Он ведь и удовольствия не находит в игре, так — забвение, — говорит она, — должен быть выход из ситуации, которая становится ненормальной, патологической. — Выход будет, когда их найдут. — Хватит уже, никого не найдут, месяц прошел, — она теряет терпение.

Грищенко тоже теряет терпение, когда Саша его донимает вопросами: походил ли он по подъездам, изучил ли настенные надписи? поговорил ли с директором школы, преподавателями? поискал ли людей с большим размером ноги? почитал ли, что пишут в социальных сетях? — Сколько можно? Саше, что, нечем занять себя?

— А что бы вы на моем месте делали? — спрашивает его Саша.

— Я бы... — Грищенко смотрит прямо перед собой, думает. — Я бы уехал в Израиль. — Тихо сказал, не нагло. Просто: ну а чего, у вас же есть родина, Александр Яковлевич, вот бы и...

По совпадению, та же мысль приходит и Эле в голову. «Великие умы сходятся», — как это по-французски?

Эля не склонна шутить:

— Есть конторы, которые помогают собрать документы, заполнить анкеты, быстро, без волокиты, получить корзину абсорбции. — Ух ты, какие слова. — Не понравится — можно вернуться, — продолжает она, — так делают многие. Никто не отнимет у Саши ни Люксембурга, ни его драгоценной квартиры в Москве. Да, Эля знает, что Саша не любит ссылок на «многих», на «всех».

Эмиграция — слишком серьезный шаг. — Вот пусть и займется всерьез. Пожалуйста, она очень просит его.

— Да отвлекись ты уже от шахмат, будь они прокляты! — Опять она слышит в трубке ненавистные ей щелчки.

Жалко Элю, тяжело ей с Филиппом в ее Чертанове всемером — с родителями, сестрой и двумя племянниками, хоть она и говорит: даже весело. Он разужнает, какие существуют возможности, поговорит с конторами.

Погода ясная, осадков не ожидается. Саша сидит во дворе, дышит холодным воздухом, пробует сосредоточиться. Для начала хорошо бы проснуться: полуявь-полусон — никак он не выйдет из дремотного состояния. Не эмиграция, говорит она, — репатриация, возвращение на родину. Парадокс импликации, так это называется в логике. Из ложной посылки верны все следствия: «если дважды два — пять, то снег белый» — истинное утверждение, «то снег красный» — тоже. Если Израиль его родина, то... то что?

Размышления подобного рода вовсе не помогают ему пробудиться, а все сильнее загоняют вглубь сна, да еще и чьего-то чужого. Шахматный рейтинг упал за последние дни до 1700. Люди («многие», по выражению Эли), принимают решения не при полном блеске рассудка, Саша всю свою жизнь старался этого избегать, но вместо того чтоб проснуться, он, подчиняясь логике сна, ищет в сети телефоны контор, роется в документах, звонит. Как выясняется, можно устроить отъезд, почти не отходя от компьютера.

Им занимается человек по имени Цви («Гриша по-нашему»). У Гриши тихий доброжелательный голос, и хотя Саша ему задает одни и те же вопросы по нескольку раз, он совершенно спокоен: к чему раздражаться на человека, который понял, что надо ехать, только сейчас? Понадобится ли им с супругой помощь в заполнении бумаг? — Нет, они с Элей умеют писать. — Тогда — собрать документы, доказывающие еврейство, и, как говорится, вперед. Гриша поможет с логистикой: трансфер, страховка, билет в одну сторону и т. п. — Старый советский паспорт: Левант Александр Яковлевич, еврей, — подойдет? — Паспорт очень порадует консула, но нужно свидетельство о рождении. — У Саши — только об усыновлении. Он объясняет: можно найти, разумеется, и свидетельство о рождении, но консула оно не порадует. — Что же, увы, по законам Израиля, он не еврей. — Саша вздыхает почти с облегчением. — Пойдите, рано сдаваться, говорит ему Гриша, давайте поищем со стороны второй половины: бывают неожиданные открытия, одной какой-нибудь бабушки может хватить. — Что-то Эля рассказывала о родственнике с фамилией на «-ич», которого удалось записать белорусом. — Вот-вот, Гриша ведь говорил: нужно чуть-чуть поскрести. Он, однако, попробует поговорить с людьми, близкими к консулу, и по поводу самого Саши: его история необычна, может вызвать у консула интерес. Надо же, как его угораздило — сам Гриша в советские времена был записан русским, хотя фамилия его Малкин. Хороший приятный разговор.

Саша просматривает рекомендации отъезжающим, собирается с духом с Элей поговорить и вдруг наталкивается на объявление: «Правоверным христианам просьба не беспокоиться. Они сразу идут на выход без права на повторное обращение. Такие евреи в кавычках Израилю не нужны». О, нет! Это не может быть правдой, а если и правда, зачем же хамить?!

— Никто вам не будет иголки под ногти вгонять, Александр. — Гриша-Цви по-прежнему невозмутим. — Скажете, что вы атеист. Нам ведь всем пришлось побывать комсомольцами.

Вообразите, не всем! Саша проснулся, вернулся к жизни: Элечека, мы не едем в Израиль. Даже не обсуждается — то, какой он христианин. Очень плохой, никакой. Тем не менее. И — он найдет, где им жить. В Москве. Немца выслем. Да, неприлично, неловко, и газета заплатила вперед, но решено: если уда-

стся найти преступников, то их семья будет жить в Люксембурге, если нет — то в Москве. Как говорил Пеперкорн, персонаж «Волшебной горы», конечно и исключено.

Немца, однако, обижать не пришлось: это за Сашу сделали, как теперь говорят, люди специально обученные (отвратительное выражение). В конце ноября Саше приходит письмо: квартиросъемщик по имени Мартин сообщает о скором своем отъезде — ему предписано в течение пяти дней выехать из страны. Начинается переписка: поводом для выдворения его, думает Мартин, стали статьи о церкви, в частности, о «прозорливом старце», — одной из эффектнейших операций в истории РПЦ, которую провели кагэбэшники, но переполнила чашу терпения властей, весьма неглубокую, статья на невинную, кажется, тему — о методологической школе и о ее влиянии на Кремль. Статье был предпослан эпиграф: «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом» — из «Бесов». Официальный повод: нарушение миграционного законодательства, не стоит даже пытаться обжаловать постановление суда, поэтому Мартин просит его, дорогого Сашу, послезавтра забрать ключи, а заодно поучаствовать в дружеской вечеринке в честь закрытия корреспондентского пункта и отбытия Мартина из страны. Ему хорошо у Саши жилось — жаль, что коротко.

Вот и решил вопрос. Прощай, Люксембург, не станем обманываться: опыт не удался. Будем, как многие, ездить сюда на дачу, на свежий воздух, собирать ягоды и грибы, обсуждать достоинства и недостатки наемных работников, любоваться ландшафтами. Саша складывает необходимое — одежду, компьютер — в рюкзак, убирает и консервирует на зиму дом — перекрывает воду и газ — и вот уже они с Элей от «Курской» идут туда, где им, очевидно, и предстоит прожить следующие, уж сколько придется, годы — в квартире, где он родился. Это Яковоапостольский переулок, а вот и родной, Лялин. Яковоапостольский назывался во времена его юности улицей Елизаровой, по имени Анны Ильиничны, старшей сестры вождя, безуспешно пытавшейся обнародовать документы о еврейских корнях Ульяновых — не таких уж и мощных (Бланк, дедушка-кантонист), однако достаточных, говорит он Эле, для эмиграции, то есть репатриации, Ильича в Израиль.

Вечеринка в разгаре. Мартин — высокий русский берлинец с немножко детским выражением лица. В шесть пятнадцать утра у него самолет. Он успел привязаться к Москве, она ему стала домом. — Саше жаль, что все так случилось, и сам он, как понимает Мартин, совсем не в восторге от... Вечный вопрос: в какой мере мы отвечаем за то, что делает наше правительство. Мартин машет рукой: ему ли, немцу, не понимать.

Саша оглядывает квартиру. Все вроде бы на своих местах, но стало просторней, светлей: часть мебели свезена на склад, и картинки на стенах висят посвободней, убраны фотографии, он узнаёт и одновременно не узнаёт жилище, в котором провел свою жизнь за вычетом последних полутора лет. Уж чего-чего, а уютно в квартире их не было, а стало уютно, *gemütlich*, ему тут нравится.

Подходит высокая женщина, очень худая, берет Мартина за руку: они так и будут в прихожей стоять? Хвалит Сашин немецкий: уют — *Gemütlichkeit* — важнейшее слово для понимания германского духа, в сущности буржуазного, бюргерского. Немку зовут Эдитой, она из посольства: любительница Достоевского, Шостаковича, всего такого ужасного, страшно левая, это она посоветовала взять эпиграф из «Бесов», говорит Мартин, — пора, однако, вернуться к гостям. С ним пришли попрощаться корреспонденты иностранных газет — европейских, американских, несколько дипломатов, они в большой комнате — там, где жила мать.

Эля совершенно освоилась в новой компании — она стосковалась по обществу, — щеки и лоб ее розовые от вина. Присутствуют несколько женщин, но Эля красивей их всех. Пожилой дипломат, австриец, толстый дядька с пунцо-

вым лицом, говорит об одном видном деятеле (известном более всего тем, что журналистов назвал дебилами): умный, тонкий, проницательный человек, просто политика зависит не от него. — Значит, циник, — возражают австрийцу. — Мы все, дипломаты, алкоголики или циники. — Гости хохочут: — Сам он, как видно, выбрал благую часть. — Дядька тоже хохочет: одно не мешает другому, два эти свойства встречаются в совокупности, — и подливает себе и Эле вина.

Пьют за здоровье Мартина, желают успеха на родине:

— *Home is the place where, when you have to go there, They have to take you in*¹. — Эдита цитирует Фроста, она единственная из присутствующих грустна.

Ровно в двенадцать все разъезжаются — кроме Эдиты и Мартина, которые убирают посуду несмотря на Элины возражения и на то, что Эдита едва стоит на ногах. Их удается выдворить с кухни, а еще через полчаса возле подъезда останавливается автомобиль.

Все, они одни теперь, говорит Саша, проводив Мартина, обнимает Элю, прижимает ее к себе.

— Тс-с... — Эля отодвигается от него.

В большой комнате, положив на журнальный столик обе ноги — один чулок порван, — спит Эдита. Не спит — дремлет. — Она вот так посидит пятнадцать минут и уедет: они могли бы сварить ей кофе покрепче и вызвать такси?

— Ваша проблема, — говорит она, не убирая ног, — в том, что ни одна эпоха у вас не заканчивается. Не мое наблюдение, но одной моей соотечественницы, она тут много лет прожила.

Интересно. Саша хотел бы развить, обсудить эту мысль, он соскучился по разговорам на отвлеченные темы, но Эля перебивает его. — Пользуясь случаем, ведь Эдита в посольстве работает, Эля просит ее ответить на один насущный вопрос: возможно ли им, с Сашей и малышом, уехать в Германию по еврейской линии и какие нужны доказательства? Сашин советский паспорт с отметкой о национальности подойдет? — Как это неуместно, Элечка, честное слово, но Саша все же достанет свой старый паспорт из рюкзака, покажет его.

— Годится любое доказательство происхождения, — равнодушно ответит Эдита, — такое тем более. История нас учила кое-чему.

Она трезвее, чем кажется, и замечательно знает русский язык:

— Число желающих покинуть страну за последние несколько лет увеличилось вчетверо. «Ради детей», как у вас говорят, — произносит она, с иронией или без — не поймешь. — Длинная очередь, но Эдита посмотрит, что можно сделать — пусть Саша даст ей свой телефон.

Глубокая ночь. Саша с Элей лежат в обнимку на узком для двух человек диване, они провели на нем много счастливых и несчастливых ночей.

— А что, может, правда, — в Германию? — спрашивает его Эля.

И кем он там будет, электромонтером? Что ему делать в Германии?

— Жить, — говорит Эля. — Жить-поживать. — Необязательный, полупьяный любовный треп.

— Для этого надо — быть. А меня как бы нет.

Как это, возражает она, его нет? Вот же он. Здоров, умен, знает несколько языков. Смеется: он даже дроби умеет складывать.

V

Та́ та-та-та́ та́-та — так? Или: та-та́ та-та́ та́? *Дом — это то место, о котором известно... Дом — это то, куда, коль заставит нужда... Дифтонги — where,*

¹ Дом — это там, где, когда нужно тебе, тебя должны принять. (англ.)

there — сколько слогов — один, два? *Дом твой — там, где тебя...* *Дом — это там, где...* Стихотворными переводами Саше заниматься не приходилось. Как же трудно уложить в размер простые, самые простые слова, расставленные в самом естественном порядке, да еще сохранить кое-какую рифму и это двойное *have to*. Задача интересней олимпиадной по математике, потому хотя бы, что у нее нет единственно правильного ответа. Эля уехала в Чертаново собирать Филиппа и вещи, а он все лежит на диване, складывает слова.

Шум. У себя в Люксембурге он знал каждый звук: сосед ли ставит машину в гараж или ругается матом на своих пчел, окно ли в мансарде раскрылось и хлопает, снег ли с крыши сошел — что ж, пора привыкать к наплыву звуков неясного происхождения, к городскому хаосу. Шум повторяется — это его телефон вибрирует на полу.

— Дозвониться до вас, Александр Яковлевич, как до Смольного. — Кто говорит? — Грищенко. Не узнали? — Голос глубокий, значительный, и Саша понимает: нашли. — Вам, Александр Яковлевич, я считаю, полагается грамота от Министерства внутренних дел. — Мужской смех, Грищенко не один. — Экстремистское сообщество помогли раскрыть.

— Неужели, — пересохло во рту, не ворочается язык, — нашли?

— Да, взяли, обоих. А что вас так удивляет? У нас — раскрываемость. Подходите после обеда в отдел. — И гудки.

Легко сказать: подходите. Уже через пятнадцать минут Саша садится в такси, оглядывает себя: не побрился, одет во вчерашнее, мягое — пустяки. Пишет Эле: «Нашли!!!», ставит три восклицательных знака. Она отвечает ему: «Поздравляю». Реакция ее — сдержанная, она рассчитывала на Сашу сегодня, предложение чуть-чуть подождать с переездом в Лялин ей не понравилось, и полиция, как ей кажется, отлично справится без него. — Но ведь он не подал заявления. — А, ну да. Не звонила ли, кстати, Эдита? — Нет, к чему им Эдита? Все и так хорошо.

Доехали быстро, не прошло трех часов, и он уже в кабинете Грищенко.

— Присаживайтесь, уважаемый.

Перед Сашей как будто совсем другой человек: рукопожатие крепкое, речь дается легко, и даже форма иначе сидит на нем. Усы блестят и топорщатся — нет, это не жалкий дознаватель Грищенко, а гениальный сыщик, Эрколь Пуаро.

Что он по телефону сказал про преступную организацию?

— Грищенко пошутил, — произносит мужчина, которого Саша вначале и не заметил, тот находился в темном углу у него за спиной.

Грищенко их знакомит:

— Адвокат Мишуков, защищает права задержанных. — Мишукову: — Почему это, пошутил? А если мы опергруппу направим по месту их жительства? Что мы найдем? Листовки? Боеприпасы? Оружие? Без подкидывания, по чесноку!

— Без подкидывания — пустые бутылки от «Клинского», — говорит Мишуков безразлично. — Или от «Арсенального» крепкого.

Он рассмотрел адвоката — невысокий плотный брюнет лет сорока: острый нос, низкий лоб, зачесанные назад волосы — с такой внешностью мог бы играть сутенеров в кино.

— И нет у тебя никакой опергруппы, — заканчивает Мишуков.

Возможно, Мишуков с Грищенко одноклассники, и Мишуков — из тех, кто подкашивал нарочно неправильно, когда Грищенко отвечал у доски.

Тот сыплет номерами статей:

— 214-я — вандализм, 282-я — возбуждение национальной вражды, 244-я — надругательство над местами захоронения, — видно, что подготовился. Останавливается: — Александр Яковлевич, ваши родители боролись с фашизмом?

— Да, мать даже орденом Красного Знамени награждена.

— О, — восклицает Грищенко, — часть 2-я! До пяти лет!

Мишуков кривит рот:

— Двухечка. За разжигание — двухечка.

— А у отца вашего нет орденов?

Нет, у Якова Григорьевича орденов не было. Ему послышалось, или Мишуков в самом деле пробормотал: «Первый Ташкентский фронт»? Что ж, адвокат так и должен вести себя, провоцировать, возбуждать к себе неприязнь, вспомним фильм «Нюрнбергский процесс». Запас Сашиного терпения все еще очень велик. Он просит подробностей: как их нашли?

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий... — начинает Грищенко, но Мишуков перебивает его:

— Да срали они в подъезде.

Оба? Одновременно?

— ...Соседка полицию вызвала. Навалили кучу и нарисовали свастику на стене.

— Закажем графологическую экспертизу! — не унимается Грищенко.

— Какая тебе экспертиза? Они уже подписали чистосердечное. Петраков подписал. — Поворачивается к Саше: — Хотите познакомиться с нашими пассажирами?

Как, они тут? Грищенко с Мишуковым смеются: где ж им быть? Тут они, в обезьяннике.

— Можете врезать им, Александр Яковлевич, мы не станем мешать. — Саша не сразу понял, в чем состоит предложение Грищенко. — Врезать, ударить их кулаком, вот так. А хотите — локтем, ногой, только не по лицу.

— На себе не показывай. — Мишуков их пропускает вперед. — После вас, джентльмены.

За белой грязной решеткой на деревянной скамье напротив двери сидят два очень длинных очень худых молодых человека совершенно ничтожного вида — с огромными конечностями и непропорционально маленькими головами. Ноги их в огромных ботинках достают почти до решетки. Оба смотрят на Сашу. Нет, Саша их не встречал. Он отводит взгляд.

— Встал, Петраков! — командует Грищенко и ударяет первого — того, кто сидит ближе к входу, ногой по голени. — Дебилы, — кричит он, — насрали на могилу кавалера ордена Красного Знамени!

Один из задержанных вскакивает со скамьи, другой от удара, наоборот, падает. Грищенко наступает на лежащего — тот стонет от боли — сбивает ботинок ударом ноги, подвигает его к Саше.

— Как заказывали, Александр Яковлевич, 47-й.

— Прекратить избиение задержанных! — Саша и сам от себя не ждал, что способен на столь решительный тон.

Все молчат и не двигаются. Первым приходит в себя Мишуков.

— Вечер перестает быть томным, — объявляет он. — Готов подписать протокол? — спрашивает Мишуков у лежащего, присаживается на скамью, наклоняется. — Что? Нет, брат, сорян, фарш обратно не провернешь.

Саше нужно на воздух. Он выходит во двор — эх, умел бы курить, закурил. Но ему недолго приходится быть одному, Мишуков тоже вышел — ноги размять, подышать. Жалуетса: душно там. Обводит рукой бесснежный пустой двор:

— Картина маслом. Плюс восемь градусов. Конец ноября, да?

— Послушайте, — говорит ему Саша. — Я потерпевший, вы адвокат задержанных. Независимо от того, как добросовестно вы собираетесь делать свою работу, посторонние темы давайте не обсуждать.

Вдруг — он даже не понял, откуда она появилась, — в ноги ему падает женщина в черном платке. Саша бросается ее поднимать.

— Отец, миленький, родненький, не губи! — кричит женщина. Мелко крестится, причитает, деньги протягивает: — На, чаю попьешь!

Выносить это нету сил. Вакханалия, достоевщина. — Не нужно мне денег. — Деньги, кричит, всем нужны! — Потратьте их на платного адвоката, — он все пытается поставить женщину на ноги.

Мишуков матерной руганью отгоняет ее от Саши, она забивается в угол двора, продолжает свою истерику на расстоянии.

— Володька, это Володька его подбил шастать ночами на кладбище. Знаю, — кричит, — падлюка, где ты живешь!

— Классика: просьба, угроза, взятка. У Петраковой — все вверх тормашками, наоборот. Личность известная, — объясняет ему Мишуков, — сестрой-хозяйкой работала. У них на больничке, кроме белья, и украсть-то нечего. Мать-одиночка — дали условный срок.

Снова они в кабинете Грищенко.

— Александр Яковлевич, хотите воды?

Да, воды. Саша крутит в руке стакан, собирается с мыслями.

— Не знаю, что тяжелее, вам это слушать или мне говорить... — нет, нет. — Я надеялся, всей душой, что виновные будут найдены. Теперь это произошло... — Так, ну, и? Он готов написать заявление? — Однако сажать их в нашу тюрьму...

Мишуков расплывается вдруг в улыбке:

— А в какой им сидеть тюрьме, Александр Яковлевич? Может, в голландской?

— Э... — мычит Грищенко.

Он как-то сник, стал похож на себя прежнего.

Мишуков приходит на помощь товарищу:

— Александр Яковлевич, виновность задержанных устанавливаем не мы с вами и не полиция — только суд. — Грищенко кивает в такт его плавной речи. — От вас лишь требуется написать, что именно вы увидели, придя на место захоронения ваших родителей, — он смотрит на фотографии: — уважаемого Якова Григорьевича и уважаемой Марии Ильиничны, в такой-то день и в такой-то час. Если желаете, можете указать, что испытали сильные нравственные страдания, и заявить иск на возмещение морального вреда. В тех размерах, которые сочтете достойными. А там — как решит суд. — Мишуков опять улыбается, широко.

У Саши хватает сил улыбнуться в ответ:

— В нормальной ситуации все бы так и произошло. — Встает: он должен идти.

— Не забудьте про орден Красного Знамени написать! — кричит Грищенко ему вслед.

Дойдя по коридору до входной двери, Саша осторожно приоткрывает ее, выглядывает на улицу. Кто-то есть во дворе, в сумерках не разберешь. Петракова или другая женщина, как бы опять ему кто-нибудь в ноги не бросился, — подождем. Он стоит в полумраке, переводит дыхание, прислушивается к шагам, голосам.

— На хер мы, не пойму, позвали этого клоуна? — спрашивает Мишуков.

— Бегали, бегали, а придется, чувствую, оформлять мелкое хулиганство, — вздыхает Грищенко.

— Не ссы, — опять Мишуков. — Фотографии есть, Згиблого наберешь, возьмешь от него заявление.

Тишина. Грищенко, видимо, обдумывает эту мысль.

— И откуда он только взялся такой... Лоэнгрин?

«Лоэнгрин»? — быть не может, послышалось. Саша рывком открывает дверь и, пряча лицо, быстро идет через двор.

«Любителям колбасы и законов не стоит смотреть, как их делают», — Черчилль, Бисмарк? Противная истина, низкая, мишуковская.

Саша заходит в свой дом: холодно, за сутки без отопления дом совершенно остыл. И пахнет мышами — дело к зиме, но, пока он здесь жил, он не чувствовал запаха. Саши и не было всего ничего, а дом ему, как чужой, хотя он знает в нем каждый предмет.

Звонки, звонки — попеременно то Эля, то кто-то еще — с неизвестных ему номеров: Грищенко, Згиблый, немка Эдита? — лучше выключить телефон.

Он садится за стол, вытаскивает стопку бумаги. Он давно не писал от руки. Смотрит в окно, там темно. Саша не испытывает ни голода, ни боли внутри, ничего.

«Заявление».

Он улыбается — вспоминает девочку-делопроизводителя из издательства, она писала на каждом письме: «Письмо».

Комкает лист, достает другой.

«Вначале пропала роза...»

P. S.

Если б номер не определялся автоматически, я бы, может, и голоса Сашиного не узнал. Притом что как раз собирался ему звонить — у меня для него были новости, очень хорошие, прямо отличные. И тут он звонит мне сам, приглашает «пива попить», так он выразился.

Попить пива — странное предложение, не его, не Сашино. Как из американского фильма: обозначает взволнованность, душевный разлад. Сказал, что не знает, надолго ль в Москве, что скоро, должно быть, уедет. — К себе, в Люксембург?

— Пока непонятно. Возможно, в Германию. — Все бесцветным, выцветшим голосом.

Готовимся к встрече с немецко-фашистскими братьями? Тому, кто считает себя евреем, нечего делать в Германии, и вовсе это не обязательный навык — пить пиво, даже у них. Я его, кстати, не слишком люблю: лишенный смысла напиток, не пьянящий, а так, отупляющий, не то что водка или коньяк. — Хорошо, говорю, есть ресторан на Татарской улице: разливное бельгийское пиво и неплохая еда — приличные порции и недорого по московским понятиям. Назвал ему адрес.

— Туда, кажется, ходит трамвай, — сказал Саша.

Да, Сашенька, туда ходит трамвай.

Насторожил меня Сашин тон, пиво это дурацкое, но сильнее всего отъезд — Саша, сколько знаю его, был противником эмиграции. Будем надеяться, он не решил руки на себя наложить — такой непристойный жест в сторону остающихся: вот вам, — мне, мол, все ясно, сами досматривайте. Между прочим, у нас по статистике уровень самоубийств чуть ли не самый высокий в мире, особенно среди сельского населения, притом что в соответствии с указами, сами-знаете-чьими, нам, врачам, полагается мухлевать.

А новости у меня для Саши были и впрямь прекрасные. Наташа — тетка моя, Наталья Израилевна, сестра моего отца, — акушер-гинеколог, известный, когда-то работала чуть ли не в том роддоме, где родился Саша, ей, во всяком случае, не составило бы труда позвонить: в профессиональных кругах ее еще помнят, хотя тете Наташе уже девяносто лет. Подозреваю, и своим поступлением в мединститут я обязан именно ей, а не знанию биологии с химией, довольно паршивому, но она так и не раскололась, молчит. Я, впрочем, чушь говорю: Сашина мать, конечно, рожала в Кремлевке, как тогда называли ее, в роддоме Четвертого управления, ныне ЦКБ УД Президента РФ. Тетю Наташу — несмотря на то что Израилевна — настойчиво звали туда перейти, такой она мощный специалист, но мы помним ее знаменитый ответ: «Я рабочий класс привыкла лечить», — и они успокоились.

Так вот, рассказал я ей про пергаментный плод: бывает же у человека несчастье, прямо рок какой-то, судьба! — и думать забыл, но тетя Наташа запомнила, умница. И тут она мне объявляет: «Греческая трагедия отменяется, так другу и передай». Истории родов, разумеется, не нашли, но остался журнал: «Мария Ильинична Гусева, старая первородящая. Срочные роды, без осложнений». И никаких размазанных по стенке плодов — ничего, скорей всего, не было. (В своем пересказе для Саши я опустил «скорее всего».) «А акушерки, — добавила тетя Наташа, — любят болтать языком, ничего ты с ними не сделаешь».

— Что такое «старая первородящая»? — спросил Саша. — Впрочем, понятно.

Да, в тридцать лет — пожилая, в тридцать пять — старая. Теперь говорят: «возрастная», в духе терпимости, толерантности и т. п., чтоб никого не травмировать.

Он покрутил стакан с пивом:

— Значит, и брата не было. — Отодвинул меню: — Мне то же, что и тебе.

Я, откровенно сказать, ждал более эмоциональной реакции.

За те почти что два года, что мы не виделись, Саша не опустился, нет, но как-то вылинял, расфокусировался, потух. Так ведь и я, вероятно, не слишком помолодел (годы курения и пьянства — ничего каламбур?), а уж Сашу, в какой бы он ни был кондиции, считал и считаю носителем более высокого разума, чем мой собственный.

«Пива попить» — эвфемизм для «поговорить». Нам принесли еду, я принялся есть, а Саша — рассказывать. Люксембург, как и следовало ожидать, оказался не райским садом.

Надругательство над могилой — знакомый сюжет. Знакомо нам и намерение вслед за этим свалить. Помню, в каком настроении отец мой с тетей Наташей однажды приехали из Малаховки: они обнаружили там приблизительно то же, что Саша — у себя в Люксембурге, только в иных масштабах — полкладбища было переверорочено. «Всё! — кричал папа. — Едем, к такой-то матери!» Бедная тетя Наташа устроила себе вызов, ее чуть было не поперли с кафедры, а отец, да и мы вместе с ним, так и не сделали ничего. Происходило это в семидесятые, я только-только проблему решил — с актрисой одной сильно старше меня, и оставить ее казалось мне жуткой низостью (остолоп! — как будто я был у нее единственным). Отец теперь там же, в Малаховке. «Царство небесное», — добавил бы я, если б верил в небесные царства хоть капельку.

Затрудняюсь сказать, лучше б жилось ли нам в эмиграции и жилось ли б вообще. Вот и сейчас: знал бы, чего ему хочется, дал бы совет — отыскались бы доводы в ту и в другую сторону. Осквернение еврейских могил встречается вовсе не только у нас. В той же Франции...

Он покивал:

— Если даже во Франции...

А что, я думаю иногда, меня самого тут удерживает? Привычка, инерция? Не только она. Понимание — по мелкой детали, короткому взгляду, реплике. Поманил официанта: молодой человек, можно курить на веранде? — на улице холодно.

Официант посмотрел на меня, помолчал:

— По правилам нет.

Вот, Саша, тебе иллюстрация.

Саша кивнул:

— Иногда лучше не понимать.

Теперь — о том, как поступить со злодеями, — чудо вообще, что нашли. Я, конечно, за то, чтоб их посадить: если зачем-то нужны статьи уголовного кодекса про оскорбление чувств, разжигание и прочее, то для таких и нужны.

— За свастику, значит, сажать, а за «Цинандали» со Сталиным?

Какое еще «Цинандали»? Я не понял: он написал заявление?

— Написать-то я написал... — невнятный ответ.

Стал меня спрашивать, есть ли надежда на исправление в тюрьме, хоть какая-то. — А сам он как думает: если бить человека палкой по голове несколько лет подряд, то можно рассчитывать, что он поумнеет? Мы ведь догадываемся, что там творится — нас с детства готовили к лагерю, вовсе не пионерскому. Впрочем, и пионерский лагерь тоже готовил к концлагерю. Я потому и пошел в медицинский, что «врач — и в тюрьме врач». Еще — на войне. Тюрма и война — вот к чему нас готовили.

— И правильно делали, — вдруг сказал молодой официант, подавая мне новое пиво.

От изумления мне пришлось взять паузу, во время которой наш официант — то ли пьяный, то ли просто очень раскованный — удалился. Наглая его выходка как будто прошла мимо Сашиного внимания.

— Хотелось бы все же понять, что они из себя представляют.

Честное слово, ничего интересного. Трудное детство? — да, вероятно, не самое легкое. Я на таких насмотрелся, не только в Кащенко. Привыкли мы ощущать вину свою перед теми, кто нас темнее, необразованней, но надо и меру знать.

— А, предположим, в кино кто у них вызывает симпатию: светлые личности или такие же, как они?

Нет, в кино они сочувствуют, кому следует. На то оно, милый мой, и кино.

— И еврею-аптекару? И скрипачу?

Не настолько, Сашенька, не настолько. — Вот, удалось его чуточку развеселить.

Только какие они антисемиты? — фуфло. Тетя Наташа моя на фронте была медсестрой, рассказывала: привозят им раненого красноармейца, который не то что одной ногой уже на том свете — двумя. Но в сознании. Она приготовилась кровь перелить, иголки воткнула, себе и ему, он как завопит: «Уберите жидовку! Лучше помру, но чтобы во мне и капли крови жидовской не было!»

— Так и умер?

Ну, да. А уродов, если приспичило проявить милосердие, можно бы и простить, если попросят прощения. Только они все равно ничему не научатся, ничего не поймут.

Ни с того ни с сего он спросил:

— Ты играешь в шахматы?

Знаю, как ходят фигуры, не более. Саше не будет со мной интересно.

— В плохой позиции нету хороших ходов, потому она и плохая. — Оказывается, в среде шахматистов бытует такая максима. — А ход делать надо, — продолжил Саша, — время идет. Или признать поражение. Но, кажется, рано пока: фигур на доске полно.

Я задал довольно нелепый вопрос: а нет ли у Саши депрессии?

— Что такое депрессия? И кто у нас психиатр?

Не вдаваясь в определения (психиатрия — сплошные белые пятна, ничего похожего на успехи других терапевтических дисциплин), надо понять, не помогут ли Саше таблеточки. Не хотелось бы их назначать просто так. Спросил про сон, аппетит, суицидальные настроения, про то, нет ли кредитов неотданных. Так в результате и не решил, дать ему что-нибудь или просто поговорить. Но что я скажу? Разговоры возможны с людьми меньшего, чем ты сам, калибра, я же смотрю на него исключительно снизу вверх.

Саша достал телефон и принялся в нем искать.

— Погляди, что у нас в Люксембурге висит на автобусной станции.

Инструкция: как вести себя, если террористы вас захватили в заложники, — бледная, но разобрать можно. Пункт первый: «Взять себя в руки».

— Забавно, не так ли? Просто взять себя в руки. — Он опять погрустнел.

Мы еще потрепались про разное. Я ни с того ни с сего начал жаловаться: Фрейд, сволочь, затормозил развитие науки на десятилетия вперед — лучше бы романы писал, раз он такой наблюдательный, поди теперь разгребь эту муть — оговорочки, сны, подсознание, — когда она так по душе идиоткам обоого пола, широкой публике. Зачем я на Фрейда наехал? Нелепость, бестактность с моей стороны: сокрушаться, какая у меня непростая профессия, — вот оно, действие пива на организм.

Отошел по нужде, а когда возвратился, то обнаружил возле своей тарелки допотопного вида папку. Что это?

Он усмехнулся:

— Бумажный плод номер два. Будут время и настроение, взгляни. Заодно определишься с диагнозом.

Не хотелось бы ставить диагнозы старым друзьям: неужто Саша ударился в графоманию? Но — ничего не попишешь — сунул папку в портфель.

Официантка забрала у меня посуду. А Саша в итоге ни пива не выпил, ни как следует не поел. Она спросила его:

— Доедать будем?

Тут, видно, принят такой грубовато-советский тон, считается частью шарма данного заведения. Зря мы пришли сюда. Вот и я облажался, ни с того ни с сего отмочил:

— Сань, пожалуйста, не унывай. Не случилось ведь ничего такого, непоправимого. — И чтобы исправить глупость свою, немедленно произнес еще одну: — Просто нету пророка в своем отечестве, я ж говорил.

Он поднял глаза на меня — я только сейчас заметил, какие они зеленые:

— Так это ты говорил? — И добавил, что называется, в сторону: — Отечества нету, пророков — хоть отбавляй.

Вот таким я Сашу люблю. Хотя я всяким люблю его.

Попросил счет: пиво с собой не возьмешь, а колбаски и остальное пускай завернут — Саша дома поест. Пообещали друг другу чаще встречаться, хоть знали — едва ли получится. Напоследок взял с него слово мне сообщать о любых происшествиях — внешних и внутренних, где бы он ни был — в Москве, в Люксембурге, в Германии, проводил на трамвай. Долго стояли на остановке, мерзли, молчали — каждый уже о своем. Потом я вышел дворами на Пятницкую: безлюдно, проезжая часть узкая, зато тротуары широкие до невозможности. Велосипедные дорожки мудачьи — для кого? — у нас зима с ноября по март. Ладно, дорожки мы как-нибудь переживем.

В вагоне метро достал из портфеля Сашину папку, рассмотрел ее хорошенько: на кнопках, старая, из треснутой кожи — не кожа, скорей всего, — заместитель, и пахнет — чем-то забытым, доисторическим, в районных библиотеках стоял такой запах. «Госплан СССР», охренеть. Какие приказы, доклады, доносы перебивали в ней? Фотографии — стал их разглядывать, чуть не выронил, СМЕРТЬ жьдам — поймал на лету. Девка какая-то, сидела рядом со мной, фыркнула-хмыкнула, посмотрел на нее внимательно — дура крашенная, отвернулась, слегка отодвинулась. Раскуроченная могила, следы от ботинок, говно и по белому камню черным — фашистская свастика.

«Вначале пропала роза...» Начал читать: буквы ровные, почти что печатные, над «т» аккуратные палочки, «ш» подчеркнуты — почерк, знакомый с далеких времен, с ранней юности. Увлёкся, чуть не проехал станцию. Как он сказал? — в проигрышной позиции нет хороших ходов. Депрессия? Какая же это депрессия, Сашенька? Нет, просто грусть.